

Офицерский
Честь и имя
роман

*Аркадий
Первенцев*

Остров
Надежды

Офицерский роман. Честь имею

Аркадий Первенцев

Остров Надежды

«ВЕЧЕ»

1968

Первенцев А. А.

Остров Надежды / А. А. Первенцев — «ВЕЧЕ»,
1968 — (Офицерский роман. Честь имею)

ISBN 978-5-4444-9140-9

Роман известного советского писателя Аркадия Алексеевича Первенцева (1905–1981) посвящен трудным будням отважных моряков-подводников, надежно охраняющих северные рубежи нашей Родины. Островом Надежды автор называет мужественный, отлично владеющий новейшей техникой экипаж атомной подводной лодки, которая совершила кругосветный поход под водами и льдами многих морей и океанов.

ISBN 978-5-4444-9140-9

© Первенцев А. А., 1968
© ВЕЧЕ, 1968

Содержание

Часть первая	6
Часть вторая	34
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Аркадий Первенцев

Остров Надежды

© Первенцев А. А., наследники., 2017

© ООО «Издательство «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

* * *

Часть первая

1

В семь вечера, да, ровно в семь – по электрическим часам на белом столбе – Дмитрий Ильич Ушаков с трудом добрался на свою «милую московскую окраину». Издалека он увидел неокрепший массив по улице Гарибальди и трусцой направился к одному из высоких и узких домов, будто предназначенных для основания будущего монумента великому итальянцу.

С полудня температура резко упала. Снизившиеся облака принесли много сухого, сыпучего снега. Закрутили метелицы по столичным улицам, разругали щеки прохожих, вызвали тот прилив энергии, который приносит мороз истинно русскому человеку.

Дмитрий Ильич миновал заледеневшие глинистые холмы и строительный мусор, очутился в затишке у лифта. Озябший, успокоенный, нажал кнопку своего этажа. Тихо задрезжал лифт. Впереди – теплая комната, ужин или обед, называй как хочешь вечернюю трапезу, а перед едой стакан кагора, убивающий простуду, а еще раньше – горячий душ.

Позади – мелкие неприятности по работе, уколы самолюбия, даже метель позади, хотя сложенное из бетонных плит здание стоит на четырех сквозняках.

С крошечной прихожей начинался уют. Тесно, чуть повернуться – гопак не попляшешь, а – хорошо. Скунсовая шубка Зои на месте и сапожки: вернулась. Из кухоньки выглянула Тоня, жена, поспешно отвязала фартук, встретила мужа, спросила о погоде и заторопилась к своему посту у четырех конфорок.

Дмитрий Ильич привык к положению среднего человека – к более или менее твердой зарплате, небольшим приработкам от гонорара, к общественному транспорту, ко всему тому, что не отделяло его от остальных соотечественников. Раньше были мечты, порывы, желание если не выпрыгнуть, то выйти вперед, а потом все улеглось, вошло в норму – «спокойней жить не лучше и не хуже других». К сорока двум годам выработались стойкие привычки.

Дочка устроилась на диване, закуталась в малиновый шерстяной шарф и, привалившись к валику, читала французский роман с твердыми глянцевыми листами, хранившими заурядные подробности сложной семейной жизни – измены, неверности, фальшивые чувства и вспышки давно, казалось, забытых, старомодных страстей.

– Извини, папа, забралась сюда, – лениво разжимая губы, сказала Зоя и, не меняя положения, потянулась к отцу.

– Сиди-сиди! – Дмитрий Ильич поцеловал дочь в прическу. – В твоей комнате ужасно дует. Действительно, ласточкино гнездо! Ты чем-то расстроена?

Она отрицательно качнула головой и сказала:

– Если ты вздумаешь сегодня работать, я перейду к себе. – Поправила волосы, указала глазами на оставленную ею на столе коричневую «общую тетрадь». – Почитай на свободе, папа. Может быть, что пригодится из наших каракуль.

– Из ваших? – Отец не без любопытства взял тетрадь, раскрыл ее. – Кто же второй?

– Юрий Петрович, – спокойно сказала Зоя. – Кстати, я получила сегодня от него странное письмо.

– Где оно?

– У мамы.

– Ну что ж, вполне нормально, – буркнул отец, – молодой мужчина переписывается с юной девицей. Только если маме отдается письмо мужчины...

– Оставь, папа, – Зоя недовольно поморщилась. – Ты хотел принять душ?..

Ни горячий душ, ни кагор не согрели его. Ужин еще не поспел. Судя по запахам, жена затеяла что-то из теста. стакан крепкого чая был бы кстати. Самому идти на кухню лень и противно. Дочка не догадается. Еще бы, французский роман...

Оставалось разложить свои записки, упереться локтями в столик-модерн, чтобы меньше шатался на своих нетвердых, хилых ножках, и приняться все за тот же каторжный труд. Безжалостно раскритикованный очерк неожиданно попал в точку – приближалась памятная дата. Редактор вызвал Дмитрия Ильича, обласкал, угостил чаем (ах, этот чай, стакашек бы такого!) и попросил «нажать к сроку». Как сладкая музыка, прозвучали его слова: «Даю вам три творческих дня. Сюда ни ногой! Но чтоб... понятно?»

Всяческая цифирь в блокноте помогла укрепить героя, довести до кондиции, то есть засушить его. Редактор отдела посоветовал «поэффектней и повнушительней доказать государственные выгоды от примерного в труде поведения рабочего». Невразумительные требования подкреплялись многозначительными «углубить», «уточнить», «подвинтить шурупы образа».

Положение усложнялось. Отысканный герой был выбран бригадиром прямым, открытым голосованием. Бравая, развеселая бригада подводила в трескучие сибирские морозы подъездные пути к ударной домне. Молодежная стройка кипела от переполнения сил. В передовики не проталкивались, а выходили по праву. В пух и прах можно было разнести любого скептика, ищущего червотчины в здоровом древе.

Ероша густые седеющие кудри, Дмитрий Ильич выворачивал себя наизнанку. А герой терзал воблу крепкими зубами, глотал жигулевское пиво с приличным для студеного климата «прицепом», парился в самосрубе-баньке можжевельником.

«Мы рванули, и вы не жмитесь, начальники!»

«Куда такое годно? Хищничество!»

Ветку подъездную зато пришили к мерзлой земле (отогрели, оттаяли кострами) на месяц раньше срока. Хлеб в кармане замерзал в камень. Гайкухватишь – прилипает словно к магниту, хоть с кожей отдирай. Бригадир двадцать три. В Брянских лесах не был, немецкие составы толком не рвал, в чистом искусстве не мастак, французские романы не читает, а принял эстафету от старшего поколения, надежно зажал жезл в крепкой, умелой руке. Таким и предьявит его читателю, и редактора убедит, только бы найти достойное слово, без излишних премудростей. Впереди три творческих дня...

Дмитрий Ильич черкал по написанному, с досадой рвал бумагу на мелкие кусочки. Газетный очерк забирался под его крышу. История далекого сибирского бригадира переметалась с судьбой близкого человека. Люди имели кров и пищу, одежду и зрелища – мало! Не только бытие питало дух молодого поколения. Оно томилось другим, его поиски не ограничивались алмазными кладами и бурением нефтескважин. Одни вооружали себя знаниями и опытом, чтобы упрочить государство отцов. А иные привыкли лишь пользоваться благами и требовали новых.

К счастью, его дочь не принадлежала к этому второму полюсу. В свои девятнадцать лет она выработала иммунитет ко многим сейсмическим колебаниям.

«Странное письмо Лезгинцева» не выходило из головы. Уральскому бригадире все ясно. Оттанцовывает в общежитии под две гармошки. Скрипят, гнутся доски под сапогами. Комендант в полушубке лушит тыквенные семечки, присланные сыном с Украины. Девчата с пунцовыми щеками, в полусапожках. Редколлегия клеит стенновку.

Повернутый к быту материал округлялся в шаблонные формы. Кому дело до тыквенных семечек и вульгарных гармошек? Еще тальянками их назови. Герои теперь пьют коктейли, ходят на скрипичные концерты, увлекаются модными поэтами или же безнадежно

прозябают в диких захолустьях... Порыв иссяк. Заломило в висках. Проще всего сложить бумаги – утро вечера мудренее.

Зоя облегченно вздохнула:

– Правильно решил, папа. Отдохни.

– За меня никто не сделает.

Зоя заложила страницу, нащупала ногами туфли.

У дочери были свои достоинства, их накопилось достаточно, чтобы не обвинить ее в эгоизме. У нее ровный характер, но твердый до упрямства. Мать одобряла: «Пусть хоть она не будет такой растяпой, как я...» Зоя великодушно смирялась с родительскими нападками. Что и говорить, домашняя работа ее тяготила, зато она самоотверженно «трудилась для общества».

У нее значились нагрузки по институту, комсомолу, по культсвязям с представителями раскрепощенных наций. Она мечтала о странах французского языка. Париж! Да, ей хотелось в Париж. От Марокко или Алжира не отказалась бы. Объездивший полмира отец не стремился отправить своего Синдбада-путешественника в дальние плавания – «учись, заканчивай, а там...»

Не так давно стайкой налетали девчонки, сверстницы. После совершеннолетия подруг стало меньше, щебет превратился в шепот, порывистость – в сдержанность. Родители нимало не интересовали. Мир открытый переключался в другие места. Дмитрий Ильич не винил дочь – так было, так будет, хотя его отцовские чувства подвергались жестоким испытаниям.

Как и положено отцу, он мог простить Зое многое. Он особенно ярко запомнил ее ребенком, сохранил запахи ее детства, ее лепет, привычки; с послевоенных времен сберег амулет – крохотную куколку, сопровождавшую его во всех поездках. Куколка эта побывала в Китае и Корее, во Вьетнаме и Ираке, в Исландии и на Кубе, в Мексике и Америке. Она могла рассказать очень много, но, странствуя без виз и билетов, приучилась молчать.

Последнее путешествие куколки – на борту атомной подводной лодки «Касатка», как ее окрестили независимо от штабных документов: операция «Норд».

Лезгинцев был на «Касатке», затем его направили в Ленинград, вероятно, повышать квалификацию или еще зачем-то – вопросы не всегда уместны. Оттуда Лезгинцев приезжал к ним погостить, познакомился с Зоей. Хотя первая встреча произошла несколько раньше. Фото семнадцатилетней Зои отец повесил на переборке каюты. В конце плавания Лезгинцев попросил Зоину фотокарточку. Покидая каюту после возвращения на базу, он снял ее с переборки и положил в блокнот.

– Все же что в том письме?

– Лучше тебе самому прочитать, – строго ответила Зоя.

– Мать не спешит...

– Спешить некуда, – в том же тоне произнесла она. – Зачем ты отдал Юрию мою карточку?

– Откуда ты знаешь?

– Он прислал мне ее...

Записки о походе «Касатки» пока оставались без движения. Время не подоспело. Репортаж не устраивал и самого Дмитрия Ильича, и тем более – читателей. Первый кругосветный поход дался ему трудно, поэтому не имело смысла легко разбазаривать впечатления.

Зоя успела незаметно выйти на кухню, там перекусить, одеться. На безмолвный, удивленный вопрос отца сказала:

– Мне нужно в одно место. – Помедлила, решительно добавила: – Я обещала!

Кому обещала, куда ушла? Дмитрий Ильич сложил исписанные страницы, придавил ладонью, задумался.

Свистел ветер. Снег сухо сползал по стеклам. Низко, будто в горной долине, сверкали огни города. Жена остановилась у порога.

– Ты уже не работаешь?

– Что-то голова трещит, – Дмитрий Ильич потер лоб, – ничего сообразить не могу.

– Вчера я не успела тебе сказать – кофточку удачную приносили, решила Зоеньке. Дня три обещали подождать.

Один из приятелей Дмитрия Ильича, отбарабанивший два года в Бомбее, рекомендовал в случаях финансовых затруднений дышать по таблице йогов.

– Очень нужна кофточка?

– Женщине всегда и многое нужно. – Жена подождала, пока он уберет бумаги, набросила скатерку, расправила ее.

Дмитрию Ильичу не терпелось выяснить до возвращения Зои все скрытые от него обстоятельства. Пока не поздно, можно предпринять меры.

Жена первая не начинала разговора, хотя сама томилась. С годами супружеской жизни они становились ближе друг другу. Острее чувствовали необходимость во взаимной поддержке. Увлечения молодости ушли, и бесы все реже толкали в ребро. Ни он, ни она не записались еще в старики, а все же самое беспокойное уже отшумело, и можно верить – пойдут и дальше рядом, чуть-чуть тише, грустнее, без прежнего озорства.

Прислушиваясь к разбушевавшейся непогоде, Дмитрий Ильич наблюдал за женой. Откуда появились у нее эти степенные движения, размеренная поступь, накрепко сложенные губы? Ее глаза вечно озабочены. Не разборонить, не заровнять бороздки на лбу и у рта. Немного видела она радостей, а больше – изнурительных повседневных забот о супе и котлетах, все о том же куске хлеба.

Квартиру получили недавно, после долгих мытарств. Прежняя комната была оставлена без сожаления, хотя имела высокие потолки и широкое, во всю стену, итальянское окно, источник сырости и простуд. Там начиналась их семейная жизнь, там родилась дочь, оттуда вынесли в белом гробу, по-кержацки, строгую мать жены.

В новом жилье они были рады всему: своей кухоньке, прихожей, двум комнатам, отдельному ходу. Дочь оставалась равнодушной к родительским переполнениям чувств. К своей комнатке она быстро привыкла, на первых порах повосторгалась подмосковным ландшафтом, открывавшимся из ее окна с высоты голубиноного полета.

– Если не возражаешь, жена, разрешим сегодня по чарке, – предложил Дмитрий Ильич с заискивающим выражением на чуточку повеселевшем лице – кагор не произвел впечатления, не сумел добраться до жил.

– Ты бы смерил температуру. Не простудился ли.

– Термометр – признак болезни.

– Хорошо. Я водку подам...

– Если не ошибаюсь, у нас задержались в резерве главного командования грибки и огурчики?

Как и многие мужчины в преддверии стопки, Дмитрий Ильич называл закуски уменьшительными именами.

«Надо жить легче, шадить семью. Меньше деспотизма. Не приносить с собой мрак. Сомнительные объяснения по письму не затевать. Все само собой образуется». Возникали умиротворяющие мысли. И тут совершенно некстати – телефонный звонок. Лучше не подходить. Он сделал выразительный жест: «Покой так покой, огурчик так огурчик».

– Неудобно, – сказала жена. Для нее телефон был окном в мир, и она без всякого предубеждения относилась к этому бичу нервной системы. – Может звонить Зоя...

Через минуту сухой ее голос размягчился, в нем заиграли живые и, пожалуй, кокетливые нотки:

– Дома, конечно, дома, Лев Михайлович! Он рядом... вырывает трубку. – Подозвала глазами мужа: – Бударин.

Дмитрий Ильич весело поприветствовал дружески расположенного к нему вице-адмирала Бударина, продолжавшего с прежним комсомольским жаром заниматься делами прогрессирующего подводного флота.

Игривый тон, обычно сопровождавший общение с неунывающим, проперченным прибаутками и моряцким жаргоном адмиралом, быстро погас. Дмитрий Ильич перехватил трубку в левую руку, присел у тумбочки, по привычке щелкнул шариковой ручкой.

– Невероятно... Лезгинцев?

– Что случилось? Что-то с Лезгинцевым? – Жена присела рядом, почуяв недоброе, но, кроме густого рокота бударинского баса, ничего уловить не могла. – Я так и знала... так и знала...

– Что ты знала? – Дмитрий Ильич положил трубку. – Где письмо?

– Вот оно. – Она проследила за тем, как муж осмотрел конверт и вытащил клочок бумаги и фотографию Зои.

– «Зоя! Прости и прощай. Юрий». – Дмитрий Ильич перечитал запрыгавшие буквы, обратился к жене: – Где она?

– Ушла позвонить... в Ленинград.

– Письмо из-под Ленинграда. Кому она будет звонить?

– Подруге. – Попросила сдавленным голосом: – Пожалуйста, принеси мне воды. – Отпив два глотка, сказала мягко: – Митя, нам надо быть вместе... душой. В такой момент нельзя иначе... Нам никто другой не поможет. – И твердо спросила: – Он... умер?

– Да. – Он быстро допил остаток воды. Его голос звучал глухо, будто через стенку: – Вернее, погиб. Его нашли возле железной дороги вчера, в снегу. Девятнадцатый километр...

– Несчастный случай?

– Неизвестно. Во всяком случае, ужасно. Молодой, энергичный – и такая нелепица... – Дмитрий Ильич перечитал письмо, жестко предупредил: – Только не занимайтесь болтовней.

На площадке остановился лифт. Захлопали двери. Шумная компания проследовала в соседнюю квартиру.

Жена подождала, пока там затихнет.

– Бывало, и Юрий Петрович, помнишь, соберет целую ватагу...

– Один раз и было, – остановил ее Дмитрий Ильич, – его-то нельзя упрекать. Хотя лучше водил бы хороводы. О письме, еще раз прошу, молчите.

– Что я, враг своей дочери?

– Как все обернулось! – Дмитрий Ильич спрятал письмо в коричневую тетрадь. – Ты интересовалась? – взглядом показал он на тетрадь. – Мне вручила ее доченька.

– Интересовалась.

– Что здесь?

– Сам считаешь. Фанты.

– Фанты? – ему стало жаль жену. Она сидела понурившись, в глубоком раздумье. Скапнула слеза по щеке. – Не переживай... Тоня. Хотя письмо явного самоубийцы, но, возможно, чужая рука.

– Враги, что ли? – Она отмахнулась. – Только им и делов...

– Лезгинцев был неуравновешенным человеком. Особенно последнее время. Товарищи за ним замечали. У него сидела в башке какая-то чертовщина... – Раздражение его усилилось.

– Не надо так, Митя. Если и сидело, то только одно. Он жаловался на голову. Пилули ему не помогали. Глотал что-то свое – не помогало. Чуть что: «Антонина Сергеевна, ужасно

болит голова...» – Жена поднялась, строгая, не улыбочивая, иногда она становилась кержачкой. – Голова могла довести до чего угодно. У меня дед сгорел головой. А какой был мужчина! На медведя с ножом... Первую звериную кровь пил. А ваши подводные лодки... Если от газовой горелки можно помереть...

Бударин еще раз позвонил. Он вылетал в Ленинград в составе специальной комиссии, утвержденной главкомом. Факт посылки комиссии о многом говорил.

– Татьяна держится молодцом, – сообщил Бударин. – Причины гибели неясны. Если решите отдать последний долг – с крышей не беспокойтесь. Забронируем в «Астории»... Нет-нет, хотя и зима, с гостиницами по-прежнему туго. Финны наплывом, пушной аукцион, медики симпозируют...

Молча накрывали на стол. Что-то до конца не выясненное мешало им поступать, как обычно. Чужое горе не миновало их семью. Хотя вряд ли гибель Лезгинцева можно было назвать чужим горем. В кругосветном походе на «Касатке» Дмитрий Ильич несколько недель провел в одной каюте с командиром электромеханической боевой части инженер-капитаном третьего ранга Юрием Петровичем Лезгинцевым. Морское товарищество закрепилось на суше.

– Я бы советовала тебе выехать в Ленинград, – сказала жена за столом. – Юрий Петрович для нас не случайный знакомый.

– Поездка сопряжена со многим... – Дмитрий Ильич с маху выпил вторую рюмку, поймал грибок.

– Если остановка за деньгами, я найду, – продолжала она.

– Где?

– Костюм я так и не сумела купить. Не было моего размера. Если не хватит, у кого-нибудь одолжишь. У того же Бударина. А поехать надо, Митя.

После водки по телу разлилась приятная истома. Мысли потекли спокойней, благодатней.

– Право, не знаю. Буду ли к месту? Если Татьяна держится... Ты сама понимаешь, следствие неизбежно. Вынырнешь ни к селу ни к городу. У них свои дела. У военных. Надо учесть специфику. Лезгинцев не просто офицер...

– Юрий Петрович прежде всего твой товарищ. При чем тут следствие? Ты приедешь проститься с покойным, отдать свой долг. И специфика не имеет значения для тебя. У нас как-то странно повелось. Забыли многое... Умер человек – ну и что ж... Какое-то безразличие... Нет на вас кнута! Поразительное, постыдное равнодушие...

Ну, если уж уралка возьмется, берегись! Пока нет причин – и тихая, и смиренная, и будто бы незаметная, а подогрей, доведи до белого каления – спуску не даст.

– Не надо, – попросил он, – убила.

– Я тебя соберу.

– Только самое необходимое, – попросил Дмитрий Ильич. – Хотя не беспокойся. Возьму свой журналистский чемоданчик – и все.

– Когда похороны?

– Бударин сказал – завтра. Тело привезут в Матросский клуб, на площадь Труда.

– Подумать только... тело привезут. – Антонина Сергеевна кончиком косынки промокнула глаза. – Ты письмо захватишь с собой?

– Какое? – Дмитрий Ильич встрепенулся. – Его письмо?

– Да.

– Зачем?

– Будет следствие. Может быть, поможет что-то выяснить... – Она говорила невнятно, будто в полузабытьи.

За ужином Антонина Сергеевна не притронулась ни к чему. Ее состояние и пугало и раздражало мужа.

– Тебе обязательно хочется втянуть в эту историю нашу дочь? – спросил он резко. – Вы, женщины, дальше своего носа ничего не видите. Теперь не знаю, не уверен, нужно ли мне туда...

Требовательно зазвонила междугородная. На проводе – Ленинград. Татьяна Федоровна требовала приехать. «Приезжайте, расхлебывайте», – звучало угрозой.

– Лезгинцева? – догадалась жена. – Что она?

– Ничего особенного. – Дмитрий Ильич покорно снес тяжелый подозрительный взгляд. – Просила обязательно приехать. Успею на «Стрелу». Зое ничего не говори.

– Почему? Зоя дружила с Юрием Петровичем.

– Ну и что, если дружила?! – он взорвался. – Мало ли чего! Что же теперь, афишировать, идти за гробом второй вдовой? Поразительно, как ты рассуждаешь. Если бы ты знала, что та сказала... – Он осекся, но было поздно, пришлось выдержать стремительную атаку и, сдавшись, все рассказать.

– Расхлебывайте? – беспомощно повторила жена.

– Пусть Зоя все забудет! Да и забывать нечего. Мало ли дружат, расстаются, потом и не вспоминают... – Его жестокие слова убийственно действовали на жену, вызвали у нее внутренний отпор, заставляли сложней мыслить и болезненней ощущать обиду.

– Они любили друг друга, – выдавила она сквозь стиснутые зубы, – хотя он был болен, страдал и, если отбросить всякие тонкости, был безнадежен.

– Тем более...

– Что тем более? – она не дала ему закончить. – Зоя страдает. Пойми, ей девятнадцать. В эти годы многое смещается, на многое смотрят по-другому. Возможно, здорового бы она не любила, не привыкла бы к нему, не жалела... Его не вернешь, но мы обязаны сохранить свою дочь...

2

Улица Гарибальди жила совсем не при итальянской погоде. Сухая метель гуляла вовсю, клубилась возле фонарей, догоняла автобусы, подталкивала озябших, закутанных по брови пешеходов. Спасительный зеленый фонарик мелькнул из-за угла как нельзя кстати. Пожилой шофер довез Дмитрия Ильича до вокзала, а расторопная кассирша, отказав в жестком, вручила билет в мягкий вагон.

Молодой смешливый проводник в новенькой шинели щелкнул замочком в купе, пожелал счастливого пути и удалился с обещанием после отхода поезда принести особой заварки чай.

Чуточку отдышавшись, Дмитрий Ильич вышел на платформу, понаблюдал скучающим, безразличным взглядом, как бесшумно заполнялись вагоны, плыл угарный дымок к овальному потолку дебаркадеров, посапывала тормозная компрессия...

У одного из вагонов никак не могла разлучиться молодая парочка. К затыжным поцелуям прислушивались проводники, а плечистый носильщик с бурым лицом даже крикнул от зависти.

Привычная обстановка вокзала вернула мысли Дмитрия Ильича в ровное русло, смягчился их скачущий ритм. Жизнь продолжалась, и многое представлялось проще. Так и он когда-то исчезнет, а парочки будут целоваться на перроне, будут поезда, поземка, фонари, носильщики...

Давно ли отсюда провожали Лезгинцева! Пили шампанское, ели апельсины... Был неунывающий Бударин, еще моряки, все молодые, мускулистые, растущие, как вербовник у хорошего водоема... Чего лучше – подводники, атомники, авангард современного флота.

За несколько минут до отправления Лезгинцев куда-то исчез. Вернулся запыхавшийся, с красной гвоздикой. Церемонно вручил ее Зое. Лезгинцеву аплодировали, затем наспех обнимались. Он прыгнул на ходу, повис на поручнях. Остался в памяти с высоко поднятой фуражкой... Последний раз сверкнула звездочка на кителе – и все...

Страшное, неумолимое всё. «В каждом расставании есть привкус смерти». Нелепо прозвучавший афоризм произнес один из провожавших, журналист. Теперь красное словцо звучало пророчески. Никуда не уйти от Лезгинцева. Впервые подавливало сердце. Дмитрий Ильич глубоко вздохнул. На здоровье он не жаловался и никаких сердечных средств с собой не носил. Следует выбросить лишние мысли из головы, не расстраиваться, в пути подумать что к чему, расценить обстановку без паники и предубеждения.

– Папа! – раздалось позади него.

Дмитрий Ильич вздрогнул, резко обернулся. Лицом к лицу – Зоя. Решительная, разгорченная, в распахнутой шубке, с замшевой сумкой на наплечном ремне.

– Зачем ты приехала? Не люблю проводов.

– Папа, ты извини... – она недолго колебалась, – я тоже еду.

– Едешь? Куда?

– В Ленинград.

– Что ты там будешь делать?

– С тобой...

На него глядели в упор ее глаза, не только просящие – требовательные.

– Остается три минуты до отхода. Ты думаешь, я побегу за билетом?

– Не беспокойся. – Зоя отвернула перчатку, показала билет.

– Никуда ты не поедешь! Немедленно домой!

– Ты несправедлив, папа.

– Поговорим после.

– К тому же ты жесток... – Она добавила враждебно: – Как ты можешь писать о чужих чувствах, если не умеешь понять свою дочь?!

Проводник сердито предупредил:

– Гражданин пассажир, прошу в вагон!

– Неужели ты откажешь мне в праве проститься с ним?

– Домой! – выкрикнул Дмитрий Ильич, цепляя ногой убежавшую подножку.

3

Сняв пиджак, Дмитрий Ильич уселся у столика в глубоком раздумье. Зачем накричал на девчонку? Не разобрался и прогнал. В самом деле, что дурного в ее порыве? Она захотела проститься с человеком, ей не безразличным. Жестокий? Да! Несправедливый? Да!

Она всегда охотно подчинялась. Непослушание возникает на почве недоверия. Зависимость еще не дает права на гнет. Надолго ли хватит просто отцовских прав? Зоя уже не ребенок, пора понять и перестроить себя в отношениях с ней. Она ему не доверяет, не делится почти ничем. С матерью тоже все реже и реже. Дочь переходит в тот мир, где влияние посторонних может оказаться сильнее: они безответственней. Нет, это всего лишь утешение, а не способ понять, разобраться, добиться, настоять на том не как есть и как хочется, а как должно быть.

Ему не стоило труда быть отцом ребенка, ему совсем не удастся быть отцом взрослой дочери. Первое осиливается легче, на второе нужен опыт, зрелость, такт, время и еще многое, многое.

Стоило ли ей увлекать семейного человека? Подобного коварства даже в самой ничтожной дозе не могло быть у Зои. Зато у нее есть другое – невероятная сила, молодость.

«Ты гляди у меня, Юрий Петрович, не желаю быть твоим тестем». И в ответ на шутку: «Эх, Дмитрий Ильич, мечтал бы... Повернул бы круто по другому курсу. Только не монтируются такие агрегаты – Зоя и ваш покорный слуга. Смешно, а главное – поздно».

Почему у него было такое желтое лицо? Даже природная смуглость не могла скрыть желтизны. «Ужасно болит голова...» Когда-то, вспоминают современники, такую же фразу произносил Рузвельт. Президент находился на борту крейсера. Где? В районе Африки. «Ужасно болит голова...» «Касатка» возвращалась вдоль западного побережья Африки.

В коридоре не слышно ни шагов, ни голосов. Проводник принял билет, принес чай, обещал разбудить.

Дмитрий Ильич не собирался спать. Прильнув лбом к стеклу, он видел огни московских окраин, слышал тягучий посвист ветра у обледеневшего окна. Представил: Зоя еще не успела добраться домой, озябла, шуба у нее нараспашку.

Дмитрий Ильич отхлебнул из стакана: чай действительно горячий и крепкий. Погрыз сухарь. Дурные мысли продолжали сверлить мозг. Почти машинально он прихватил тетрадку. Что же в ней? «Может быть, что пригодится из наших каракуль?» В чем смысл ее слов? Дети не берегут родителей. Сунула ему тетрадь, выпалила несколько загадочных слов, крутнулась на каблучках.

На первой странице формула первичного познания закона Кулона. Ниже: «Допустим, в планетной системе важны силы тяготения, в атоме – электрические (кулоновские) силы, а в жизни?»

«В жизни – силы любви» (почерк Лезгинцева).

«Любовь начинается с поцелуев. Вы принципиально избегаете их? – З.»

Дальше зачеркнуто семь строк, и рукой Лезгинцева каллиграфически, неторопливо выписана откуда-то цитата:

«Полстолетия тому назад, когда я умирал глубоким стариком, правительство включило меня в “список молодости”. Попастъ туда можно было только за чрезвычайные заслуги, оказанные народу. Мне было сделано полное “омоложение” по новейшей системе: меня заморозили в камере, наполненной азотом, и подвергли действию сильных магнитных токов, изменяющих самое молекулярное строение тела. Затем вся внутренняя секреция была освежена пересадкой обезьяньих желез».

«И вы сумели сохраниться человеком? – З.»

Фанты стойко продвигались в определенном направлении.

Сомнений не оставалось. «Король параметров» либо влюбился до зеленого ужаса, либо дурачил девчонку.

По-прежнему четко, старательно, как на экзамене по отлично знакомому предмету, выписывались «три градаций любви». Градация – его терминология. Ну и что же, соблазнитель?

«1. Влюбленность, духовный и физический подъем, пелена на глазах и открытые чувства, способность к неразумным поступкам, познание красоты, жажда обладания».

Ишь ты, Юрий Петрович! Все будто прилично, а под конец не удержался, завернул. Отцовское чувство самообороны поднялось, не отпусало.

Вагон поматывало сильнее. По-видимому, путь шел под уклон. Снаружи металась вьюга, как и при раскольниках, как и над кортежем Федора Иоанновича или санями опаль-

ных вельмож. Казалось, поднималась российская тоска, размахивала седыми бородами и топорами, наточенными на валунах, натасканных сюда на спинах древних ледников.

Не знал, Юрий Петрович, за тобой такой образованности в побочной науке. Крутил шарики, разыгрывал ухажера, обводил вокруг пальца отца с матерью. Теперь – «приезжайте, расхлебывайте».

«2. Ровная пора, удовлетворенность, покой, чувства без вспышек, взаимное довольство и осторожность к другим, способным нарушить покой.

3. Привычка, стабильное взаимное понимание, взаимная выручка, забота друг о друге, уважение, угасшие страсти».

В коридоре появилась шумная буфетчица. Осведомившись у проводника, постучалась. Дмитрий Ильич закрыл тетрадку. Девушка откатила дверь, задержала ее полной коленкой, обтянутой тонким узорным чулком. Сквозь чулок просвечивалась розовая с холода кожа.

– Вы, кажется, сказали «да-да»? – Глаза устало-бесоватые, удлиненные тушью, на щеке капли от размокших ресниц. Платок завязан у шеи двумя узлами. – Коньячок полтора ста, бутерброд с зернистой. По вашей комплекции парочку?..

– Коньяк уберите. Один бутерброд – и все!

– Пожалуйста, пожалуйста! Обратно буду возвращаться, надеюсь, вас подтолкнет аппетит.

Она исчезла, молодая, здоровая, по-своему беззаботная, притворно веселая. Сколько ей? Ну, пусть года на два старше Зои...

Поезд пронесся через большую станцию. Будто в фосфоресцирующем море разбегались огни и скрывались в кильватерном снежном вихре по гулким, намороженным рельсам.

Последний выкрик сирены. Дисгармоническая гамма звуков. Тревожно и угрожающе, словно ревун на атомной лодке. Когда? Проходили полюс подо льдами. Командир объявил «радиационную опасность». Металлический спокойный голос командира до сих пор стоит в ушах. Лезгинцев? Ни один мускул не дрогнул на его смуглом лице. Он исчез и появился в каюте невероятно уставший. Грыз яблоко, шевелились желваки, капля сока упала на колено...

Второй раз? В Атлантическом. На траверзе острова Святой Елены. Теперь уж не учебная тревога. Яблок давно не было. Лезгинцев вернулся через два часа, свалился на койку.

А здесь, на земле?

«Если любовь обернулась равнодушием, произошла ошибка, наступило разочарование, вспышки гнева сменяют вспышки чувств, тогда: что? Тяга к внешнему миру. Выход из круга. Поиски потерянного... – писал Лезгинцев. – Если женщина не отыщет в себе дополнительной силы или попытается удержать ревностью – все обречено на обман или на... разрыв».

«Ненависть скрывай – любовь показывай», – изрек он же после многих старательно замаранных слов.

«Любовь не схема, Юрий, – написала Зоя, – а сложное чувство. Любовь прежде всего союз двух душ. Вы не хотите простить ее, если даже она виновата. Не слишком ли жестоко? В вашей несчастной любви выражается не только отчаяние, а и мольба, желание вернуть утерянное, не так ли?» И в ответ на трижды подчеркнутое слово «ненависть» вписано рукой Зои: «А если это у вас в характере? Если и другого человека вы возненавидите? Если вы заставляете страдать, а сами требуете одного – рабства, подчинения, применения к вам, к вашей обстановке жизни...»

И это девочка так рассуждает! Почти ребенок, еще куклы целы, еще попадают в шкаф у ее распашонки! Никогда не поверил бы... Способна так рассуждать на запретные темы? Кто ее научил или разбудил?

Дальше – снова Зоя. Небрежно, нет, взволнованно, не следила за почерком, и обычный стройный ряд строк изломан:

«Дружить мужчина и женщина могут, но, на мой взгляд, это крайне неинтересно. Такая дружба – союз равнодушных и бестелесных. Какой же в ней прок? А если любить, то невзирая на условности. Зная, что любовь – и счастье, и несчастье, зная, что любовь приносит и страдания, и в большей мере, если наблюдать не через призму, а в упор, без всяких поправок и снисхождений».

«Да, не отрицаю – страдания могут закрепить любовь. Закрепить – заковать! Любые цепи есть неволя. Если горе? Взаимное горе?»

«Взаимно перенесенное горе укрепляет любовь больше, чем радость. Хорошее почти не оставляет следа».

Дальше ни строки. Летели фантастические птицы, похожие на птеродактилей, гнулись пальмы под ветром. Рисовала Зоя. Такое же, очень похожее, присылал ей, девочке, Дмитрий Ильич, ведя с ней переписку рисунками. Рассуждая с чужим человеком, Зоя вспоминала свое детство.

Хотелось не плакать – стонать, рыдать. Никогда он не предполагал в себе такой сентиментальности. Звала кровь – детище, именно детище. Как его охранить?

Если вдруг в нее вцепится следствие – изранят, искалечат. Зачем он пригласил Лезгинцева, подтолкнул?

Зачем он везет с собой этот документ? Для чего или для кого?

Может быть, выбросить на том же девятнадцатом километре?

Бог мой, снова совпадение – и Зое девятнадцатый год. Если бы не трагедия, показалось бы, как великолепно разыгран спектакль. Судьба дочери все больше угрожала ему. Не беспокоила, а угрожала. Ему, отцу, слепому человеку. В памяти провихрились случаи самоубийства юнцов, и только из-за любви. Тот застрелился из дробовика, тот бросился в пролет, та отравилась, одну вытащили из-под автобуса, и, вся в крови, она вопила: «Пустите, дайте мне умереть!»

Проглядел самое главное. Лазал по колхозам, беспокоился, не осыпалась бы пшеница, не передержали бы рожь, учил хлеборобов статейками, а дочь проглядел. Некому было потрясти его, папашу, за шиворот.

Без стука открылась дверь. В овале зеркала появилась та же буфетная девица: малиновая кофточка, оголенные руки.

– Как обещала, гражданин пассажир. Не надумали?

– Нет.

– Все отвечают односложно.

– Естественно. Мы незнакомы...

– Живем-то в одной стране. – Девушка говорила вялым голосом. Посмотрелась в зеркало. – В международном вагоне нахал. Съел всю помаду. Ненавижу таких сытых котов. Дайте, просит, вашу руку, погадаю. – Она разжала пальцы, такие называют музыкальными. – Хиромант нашелся! – Позвенела монетами в кармане фартука. – Чего задумались? На меня не обращайтесь внимания. Я вообще кислятина. Рано седеете. Тоже не всё разлюли? Как вас величать разрешите?

– Не имеет значения. – Он с гнетущим любопытством вглядывался в девицу, искал сходства с дочерью. Какой она выглядит со стороны, для чужого глаза? Как ведет себя? После двусмысленных «любовных фантов» можно предположить разное.

– Мое имя стандартное – Валя, – продолжала девушка. – Каждая пятая – Валя. Переменить на Виолетту, что ли? – Она подкрасила губы у зеркала. – Начальник поезда сказал – на нашей линии столкнули человека с электрички...

– Столкнули?

- Не сам же.
- Вы не знаете подробностей, Валя?
- Заинтересовались. – Девушка неторопливо подправила карандашиком ресницы, поставила на щеке мушку. – Живет человек, никому не нужен. Попал под бандита, сразу понаехали. Офицер, говорят, морячок, чуть ли не герой.
- Фамилию не называли?
- Называли. Не русский. Лезгин, что ли? – Она небрежно кивнула на прощание.

4

Мужчина в теплой пижаме и туфлях гуцульской расшивки пристально всматривался в окно. Половина лица его и руки хранили явные следы ожогов. Дмитрий Ильич поклонился, отодвинул шторку. Мужчина обрадовался живому человеку, разговорился. Ему пришлось воевать в этих местах. Судя по погоням на висевшем в купе кителе, дослужился до полковника.

– Свыше двадцати лет сюда не попадал. И надо же так разбушеваться! Только ведьм не хватает. Ничего не вижу. Начинал я здесь юнцом, а теперь дочка на выданье. Время-то изумверски быстро летит. Глянь-поглянь, уже плешь намечается, брюшко выпирает. А я люблю армию. Мне уйти в отставку, на пенсию – удар. Вы не из военных?

– Нет. Журналист.

– Журналист? Отлично. Я бы мог вам таких сюжетов подбросить... Если взять только мною пережитое – «Война и мир», честное слово...

Дмитрий Ильич покорно выслушал десятиминутный красочный рассказ об одном танковом бое, извинился, спросил:

– Вы не слыхали подробностей? Кого-то столкнули с поезда.

– Стокнули? С нашего?

– С пригородного.

– Пьяный, наверное, вывалился. – Полковник брезгливо улыбнулся, замаял окурок в пепельнице. – Пьют как лошади. Владимир Красное Солнышко разрешил питье для веселья, а не для ЧП. Вы, я вижу, не склонны выслушивать воспоминания ветерана. Да и понятно. Скучно. Экспрессы, буфеты, мягкие вагоны, а тут – о крови, о слезах, о солдатчине. Спокойной ночи!

«Один принимает за алкоголика, другая – за морячка-лезгина. Эх ты, Юрий, Юрий!..» – размышлял Дмитрий Ильич, готовясь на боковую. Купе почему-то напоминало ему каюту подводной лодки. Очевидно, от запаха линкруста, теплых труб, ритмичного гула движения. И дышать хотелось глубже, как там, полной грудью.

За дверью раздался чей-то знакомый голос, искавший «товарища Ушакова». Проводник предупредительно постучал, попросил разрешения войти. Дмитрий Ильич застегнул пижаму, сбросил защелку, и в тот же миг в купе ввалился огромный, барственно важный Ваганов.

– Дмитрий Ильич, миллион раз прошу извинить! – Ваганов полуобнял Ушакова, ткнулся щекой, причмокнул в воздухе. – Идите, милый! – Он сунул рублевку проводнику.

Ваганов был в невероятной заграничной куртке, выстеганной по пурпурному фону атласистой ткани. Его заметно поседевшие кудри вились над высоким белым лбом, сочные губы были полуоткрыты, и ослепительная улыбка украшала его лицо.

– Шестое муравьиное чувство подсказывает, меня подзабыли. – Ваганов присел на противоположный диван, смял вдвое подушку, засунул за спину, потер ладони. – Фамилию, не сомневаюсь, помните. А остальные прибавки лежат не в первых рядах таблицы Менделеева. Кирилл Модестович к вашим услугам!

Дмитрий Ильич попытался сохранить спокойствие, хотя появление Ваганова было для него неожиданным и тревожным.

– Чему обязан, Кирилл Модестович? – Ему не хотелось встречаться с ищущими и сразу же потерявшими покой глазами Ваганова.

– Прошу извинить. – Ваганов снизил голос, выключил верхний свет. – Общность наших интересов требует уточнений...

– Прошу не так туманно...

Ваганов потянулся к нему всем корпусом, колени их почти сошлись. Каждое его слово, по-видимому, заранее взвешенное, приобретало знобкий смысл.

– Вас, Дмитрий Ильич, насколько я догадываюсь, тоже вызывают по делу Лезгинцева. – Не дожидаясь ответа, он продолжал: – Вас – понятно! Вы соприкасались с ним непосредственно. Плавали вместе, дружили, насколько мне известно. А зачем я понадобился? Ума не приложу. У меня с ним были рядовые, служебные дела. Как и всегда, по новому проекту. Мало ли приходится нам, поставщикам, иметь дел с нашими заказчиками!

Ваганов скорбно улыбнулся, отодвинулся, снова затиснул подушку за спину, вытащил трубку, принялся набивать ее табаком. Его пальцы дрожали.

– Чего вы молчите? – Ваганов не мог удержаться. Окаменевшее лицо Ушакова его пугало. Он видел упрямые губы, сильную челюсть, изломанную от напряжения бровь.

– Что бы ни случилось, товарищ Ваганов, хоть земля тресни... а вам... лишь бы не меня. Как, мол, мне? Вдоль или поперек щели?

– Конечно, я понимаю. Вы шутите... – неодобрительно промямлил Ваганов. – Однако поставь любого на мое место...

«Почему ты волнуешься? – думал Дмитрий Ильич, слушая его оправдания. – Что же мне тогда делать? Тебе безразличен заказчик Лезгинцев, а я-то его любил. Для меня он не просто один из многих. Дочь стоит рядом».

Молчание Ушакова заставляло Ваганова изыскивать новые ходы, излишне подробно объяснять и доказывать, а вернее всего – и в первую очередь, – открещиваться из-за позорного, дворянского чувства трусости.

Он попытался закурить, заметил неудовольствие на мрачном лице своего собеседника, погасил спичку.

Снег стал гуще, польдистей, застучал в стекла. Ваганов задернул до конца шторку, чертыхнулся в законное пространство и продолжил свой нудный скулеж, усугубляя дурное настроение Дмитрия Ильича.

Сухо, не скрывая неприязненного отношения, Дмитрий Ильич спросил:

– Вам-то чего беспокоиться? Судя по всему, ваша хата с краю, товарищ Ваганов.

– Вы отчасти правы. Но на Востоке говорят, если хотят обвинить человека, то и помет его осла припишут ему. Я не боюсь за свое доброе имя, но если предадут гласности...

– Ваше имя, насколько мне известно, под забралом?

– Сегодня под забралом, завтра начнут таскать профилем по асфальту... До боли в печени ненавижу всякие следствия, допросы, протоколы. По-видимому, у меня скрыт психический импульс, срабатывающий на любую закорючку.

Виноватые оправдания настораживали, заставляли более придирчиво покопаться не только в «психических импульсах» Ваганова.

– Вам известны подробности?

– Какие, разрешите спросить?

– Подробности, проливающие свет на любое преступление.

– Разве совершено преступление?

– Ходят слухи, его столкнули, – Ушаков продолжал наступать, – или вам известно другое?

Ваганов овладел собой. Теперь он держался более независимо и даже полувраждебно. Перемена произошла слишком быстро, чтобы не возбудить подозрений у Дмитрия Ильича, привыкшего иметь дела с людьми разных категорий и характеров.

– Извольте, я передам вам дошедшие до меня подробности, если они вам не известны. – Ваганов бесцеремонно закурил. Его брови застыли, глаза похолодели. – Лезгинцев поехал к матери, – Ваганов назвал поселок, – пробыл у нее несколько дней, ни с кем не встречался, якобы над чем-то работал. Потом уехал пригородным и в Ленинград не вернулся. Тело его обнаружил путевой обходчик Сивоконев... – Ваганов проверил по записной книжке фамилию, повторил ее, будто это имело значение. – Сивоконев позвонил по начальству. К месту происшествия выехала оперативная группа. Возглавлял ее... – Ваганов подвинул под самый нос Дмитрия Ильича записанную размашистыми буквами фамилию. – Я без очков. Финогенов?

– Да, Финогенов. – Дмитрий Ильич вскипел: – На кой черт мне знать эти фамилии?! Значит, его убили?

Ваганов оглянулся, забеспокоился, приложил палец к губам:

– Вы сумасшедший! Чего вы кричите? Убили, убили... Чепуха какая-то.

– Все говорят, столкнули...

– Мало ли чего. – Ваганов выколотил трубку. Его лицо наполовину освещалось настольной лампой, породистое и, пожалуй, волевое лицо. Губы, резко очерченные, высокий, отлично вылепленный лоб, брови черные, взлет над жестокими глазами.

После встречи в Юганге прошло немного, примерно около двух лет. Время не тронуло его, лишь прибавило седины: в перец погуще подсыпали соли. Ваганов не потерял зрелой мужской красоты и то прежнее, «паратовское», по-видимому, укрепилось еще сильнее в манерах, поставе головы, интонациях размеренной речи, с теми самыми снисходительными нотками, многозначительными паузами, которые отличали и раньше этого удачливого, самонадеянного человека.

Ваганов намекнул на «достоверные каналы», позволившие ему узнать подробности дела. При вскрытии трупа алкоголя не обнаружили и явных следов насилия тоже, хотя были ушибы: «Естественно, слетел на полном ходу». Из документов у Лезгинцева пропало только служебное удостоверение.

– А работа? – спросил Дмитрий Ильич.

– Какая?

– Он же над чем-то работал, будучи у матери.

– Вы думаете?

– Вы сами сказали.

– Давайте на всякий случай уточним, Дмитрий Ильич, – сказал Ваганов. – Якобы... якобы над чем-то работал. Такова версия, не мною придуманная. – Ваганов поднялся. – Если мне память не изменяет, Юрий Петрович отличался аккуратностью и... осторожностью. Кто-то мне рассказывал, чуть ли не сам адмирал Бударин, у Лезгинцева однажды выкрали секретный документ и после того он дул на воду. Таким образом, международный империализм и его коварство отпадают. – Ваганов улыбнулся краешком губ. – Присутствует еще одна версия, Дмитрий Ильич, любовная. Как вам это нравится? Лезгинцев в роли пламенного любовника! Я лично с трудом представляю. Не тот гусар, далеко не тот... В общем, старо как мир. Как говорят французы – ищите женщину.

5

Ночь прошла беспокойно. Не для красного словца произнес Ваганов последнюю фразу. Подобные люди даром пороха не тратят. Рано утром Дмитрий Ильич прошел в международный вагон, разыскал Ваганова, потрескивающего электрической бритвой.

– Прекрасно, – не отнимая бритвы от щеки, сказал Ваганов, – я так и предполагал. Нам выгоднее обойти лужу, взявшись за руки, а не толкать туда друг друга.

Дмитрий Ильич распутал теплый шарф.

– Насчет женщины, Кирилл Модестович... Вы кого имели в виду?

Ваганов принялся за обработку второй щеки, устроившись так, чтобы в зеркале видеть своего раннего гостя.

– Объясню. – Длительная пауза не предвещала ничего доброго. – Я имел в виду вашу дочь.

– Мою дочь?

– Отцы узнают последними. – Ваганов явно торжествовал. – Две недели сплошного донжуанства не могли пройти мимо любопытных. Лезгинцев, кстати сказать, и не таился. Ему импонировало...

– Перестаньте... Не продолжайте, старый, отвратительный циник. – Дмитрий Ильич сжал кулаки, терпению его приходил конец.

Ваганов выключил бритву, насупился, рогатинка морщин побежала на лоб, застыла.

– Я советую, Дмитрий Ильич, осторожней обращаться с такими выражениями. Вы можете не рассчитать свои силы. Прощаю вам только как отцу... – Он поднялся, принялся натягивать свежую, хрустящую от крахмала сорочку. – Могу повторить, либо обойдем лужу, либо... кто кого первый толкнет... Кстати, Танечка Лезгинцева, будем называть ее по-прежнему, только на первом этапе подняла шум. Сейчас она успокоилась, приведена в норму.

– Не вами ли? – выдавил Ушаков.

– Мною. Я первый ей позвонил. Утешил. Разъяснил. Узнал о том, что она разговаривала с вами и... привела вас к такой растерянности. – Он старательно вывязывал галстук, закрепил золотым прижимом, надел мягкий шерстяной жилет. – Боюсь бронхита. Питер – простудный город. Вам пора собираться. Знаете, что я подумал? Не на девятнадцатом ли мы километре? Дальше Юрий Петрович не сумел, а мы катим и катим, черт возьми. У меня тоже иногда шалют нервы. Поддаваться нельзя. На том свете абсолютная безопасность, никаких неприятностей, а редко кто туда спешит...

В прескверном настроении очутился на перроне Московского вокзала Дмитрий Ильич. Прежней, приподнятой радости от встречи с Ленинградом не было. Все выглядело мрачно. От вагонов несло угарным дымком и перегретой смазкой. Люди, спешившие встречать прибывших, казались излишне учтивыми, а улыбки фальшивыми.

Невесело направился Ушаков к стоянке такси, думая о том, в самом ли деле Бударин забронировал номер или придется унижаться перед администраторами.

Его обогнал Ваганов со своими приятелями, rispetабельно одетыми представителями технической элиты, веселыми, с развевающимися шарфами невероятных расцветок и размашистыми жестами.

Из черной машины с желтыми фарами выскочил еще один, приехавший для встречи.

– Ми-илай! – Толстенький, шумливый, он шутовски подкатил к Ваганову. – Здравствуй! – Объятия. – Век тебя не видел, Кирилл! Повернись-ка! Ого, раздобрел, заважничал, столичная бестия! Спасибо, уважил глухую провинцию, обитель великого зодчества!

Дмитрий Ильич не выносил подобного громкоголосого, невесть откуда почерпнутого стиля поведения – ёрничество «бывших мальчиков». Он не стал вслушиваться в дальнейшие

дружеские излияния. Ваганов и его приятели сели в машину, громко перекидываясь шутками.

Ушаков поднял воротник, направился к выходу в город в несколько поредевшей толпе.

За ним кто-то шел, не обгоняя его. Даже дыхание слышал, неровное, сдерживаемое. Он замедлил шаги, его не обогнали. Тогда он круто повернулся и лицом к лицу столкнулся с дочерью.

– Ты? – только и сумел вымолвить он внезапно окоченевшими губами.

Она пошла рядом, избегая его взгляда, пряча подбородок в пушистый мех.

– Я не могла поступить иначе, папа. Ты имеешь полное право сердиться. Извини меня...

Дмитрий Ильич еще не мог овладеть собой, заторопился, не отвечая на ее оправдания. Он еще и сам не знал, как поступить, как держаться.

– Я не помешаю тебе, – продолжала она настойчиво и отчужденно. – Остановлюсь у подруги. – Ее голос прозвучал суше. Она отстала.

– У тебя в Ленинграде подруга? – спросил он, подождав. – Что-то я не помню.

– Мама знает, – упрямо ответила Зоя. – Живет на Таврической.

На площади крутилась поземка. Сухой снег шелестел у ног, забирался под пальто.

Усевшись в такси, Дмитрий Ильич почувствовал озноб во всем теле. Машина повернула на Невский. Зоя смотрела через заиндевшее стекло на неприветливый, серый строй зданий, одинаково мелькавших перед нею. Ей тоже было зябко – не только от мороза. Ей не хотелось огорчать отца, но все же она решила настоять на своем. И это свое личное было для нее всего дороже.

– Попроси остановиться. Я здесь сойду. Вон за той остановкой.

– Ты поедешь со мной.

– Куда?

– В «Асторию».

– Самый лучший отель. – Зоя откинулась на спинку сиденья, щелкнула замком, открывая сумочку.

– И это ты знаешь?

– Немного... – Она посмотрела в зеркальце, поправила волосы. – Я тебя не стесню, папа?

– Меньше, чем свою подругу, – буркнул он, несправедливо приписав ей в уме сотню смертных грехов, возмущенный ее тоном, хладнокровием, этим зеркальцем, манерами зрелой девицы.

– Папа, – она прикоснулась мизинцем к его руке, – Юра... Юрий Петрович был моим другом. Разве ты не приехал бы к своему другу, если бы... – Она не договорила, отняла мизинец, натянула перчатку. – Я постараюсь быть незаметной. Попытаюсь не попадаться ей на глаза.

– Кому ей?

– Его мадам!

– М-да, – протянул Дмитрий Ильич, он тяжело задышал. – Где ты набралась?.. Проглядел, проглядел. Не делает мне чести.

Машина свернула на улицу Герцена. Старые, красивые здания пробегали с обеих сторон. Плотнo, стена к стене, будто нависшие скалы в горном ущелье – предмет прежних раздумий и строгих восторгов, – теперь здания давили, угнетали. Город оборачивался чем-то иным, ранее скрытым.

– Паспорт я захватила. В отеле понадобится.

– Тебе известны порядки?

– Догадываюсь... – Она передернула плечами. – Возьми.

В гостинице был забронирован номер. Зоя стойко выдержала проверку взглядом женщины-администратора, пока отец заполнял анкеты.

Через вертушку застекленных дверей ввалилась компания Ваганова. Их почтительно встретил швейцар, открыл дверь бокового лифта.

– Пешком, только пешком! – приказал Ваганов. – Никакой механизации!

Кинув взгляд на сидевшего у столика Дмитрия Ильича и Зою, Ваганов с самонадеянностью расшалившегося жуира послал ей воздушный поцелуй.

– Тебе он известен? – спросил Дмитрий Ильич, когда они вошли в свой номер.

– Известен.

– Откуда?

– Он ехал в нашем поезде. Девушка из буфета назвала мне его фамилию и довольно нелестно о нем отозвалась. Ты опять удивлен? – Зоя провела рукой по седеющим вискам отца. – Ты сам рассказывал историю с ним. Мадам пыталась сбежать с этим... – она вовремя остановилась. – Хотела из-за него бросить Юрия...

Зоя потупилась. Ее ресницы «в полщеки» вздрагивали. Пальцы теребили скатерку.

– Тебе я ничего не говорил о нем.

– Тогда у нас была одна комната. Какие могли быть секреты? – Она сняла шубку, осмотрела спальню, ванную. – Здесь недурно. Но есть номера лучше... – Поправилась: – Предполагаю...

Дмитрий Ильич вызвал буфет. Расторопный, сметливый официант скороговоркой изложил сведения о продовольственных возможностях ресторана, набрасывая белую скатерть.

– Простите, – остановил его Дмитрий Ильич, – вы принесите нам что-нибудь легонькое, не обременительное для вас, замечая – вы куда-то торопитесь. Сосиски, бутылку кефира и кофе...

– Мне слоеные пирожки. – Зоя вышла из спальни. – У вас вкусные пирожки...

Ничто не ускользнуло от настороженного отца: ни нагловатый взгляд официанта, которым он по-заговорщицки обменялся с Зоей, ни вспыхнувшие уши и неловко скрытая растерянность дочери.

Официант удалился крылатой походкой.

– Ты здесь бывала?

– Да! – ответила она. – Теперь это не имеет значения. – Она приготовилась к сопротивлению. Отец не поймет ее. Все длиннее становились между ними расстояния, глуше и невнятной разговаривали они друг с другом, да и некогда – каждый занимался своим.

– Не имеет значения... – потерянно повторил он поразившую его фразу. Потер лоб, передернул плечами.

Ничего в нем не было угрожающего, ничего отцовского. Ей стало жалко его. Теперь она острее почувствовала свою вину перед близким, родным человеком.

– Юрия нет и не... будет. Некого упрекать, обвинять, папа... – Она беззвучно зарыдала. Ненадолго хватило сопротивления.

И у отца иссякла злость. Перед ним – его дочь, и он первым должен прийти ей на помощь.

– Успокойся. – Он усадил ее на диван, помог достать платок, гладил ей плечи. – Ты можешь ничего больше не объяснять. Я понимаю, тебе тяжело... Разберемся, обдумаем...

– Нет. – В ней было многое разбужено. – Чтобы ты дурного не думал, я расскажу... – Она потеряла обеими руками лоб, щеки, шею, сосредоточилась.

В соседнем номере кто-то долго и крикливо разговаривал по телефону. Ближе гудели лифты. В окне мутно вырисовывались заиндеветшие от влажного мороза колонны и капители Исаакя.

Короткая улица за собором приведет к Матросскому клубу, где лежит Лезгинцев. А здесь... Неужели сейчас будет раскрыта ранее скрываемая тайна? В нем поднимался инстинкт самосохранения, и мозг продолжал работать в одном направлении. Только в одном: как сохранить покой в семье?

– Помнишь, когда Юрий был в Москве, я отпросилась к подруге в Малаховку на два дня? – Она говорила ровным голосом, глядя в одну точку прищуренными глазами, сложив руки ладошка к ладошке. – Мы отправились «Стрелой» в пятницу, вернулись утром в понедельник. Я не признавалась даже маме. Наш обман мучил и его. – Она подыскивала подходящие слова для объяснения самого главного. – Ничего дурного не случилось. Юрий был честный, порядочный человек... Если говорить откровенно, я жалею... Может быть, это остановило бы его, связало с жизнью, ниточка много значит...

Завтрак подала пожилая буфетчица.

Зоя умело хозяйничала за столом.

– Мы сразу поедем к нему?

– Конечно.

– Если тебе неудобно, я приеду сама.

– Туда пешком десять минут.

– Тем более.

– Пойдем вместе. – Он попросил: – Только не делай глупостей.

– Что ты имеешь в виду?

– По отношению к... мадам, как ты ее называешь.

– Не волнуйся, папа. Я ничем не огорчу тебя. – Она допила кофе, сама собрала посуду, поставила ее на шкафчик.

Отец достал тетрадь.

– Возьми. Я хотел выбросить.

– Напрасно. – Она взяла тетрадь, перелистала задумчиво, подняла глаза. – Единственная память о нем, о живом. Он называл это гимнастикой мысли... Не думай плохо о нем. Что угодно обо мне, только не о нем... Вряд ли я встречу в жизни такого...

– Столько молодежи! – резко возразил отец.

– И среди молодежи есть разные люди. В ином – пустота, пижонство, самомнение. Всего на копейку, а корчит... Он любил меня. И я любила...

– Он женат!

Зоя хладнокровно переждала, надела шапку.

– Ну и что? Разве для любви существуют преграды? – Она подошла к окну, откинула штору. На площади вздыбился всадник. Казалось, он скакал. Иллюзию создавала метель. – И потом, на ком он был женат? Кто ее идеал? Ваганов. А Юрий был чистый, необыкновенный. – Глаза ее были сухи, щеки горели. – Пойдем скорее к нему, папа. – Она стала торопливо одеваться.

До самой площади Труда они молчали. Шли быстро по комковатому затоптанному снегу, будто боясь опоздать. Постепенно улица посветлела, как бы раздвинулась, показалось здание Матросского клуба. Возле него – люди, автобусы.

– Ты иди, папа, – предложила Зоя, – а я сама, чуточку позже.

– Оставь, пойдем вместе.

– Нет-нет, так будет лучше. – Она уткнулась в воротник. Иней от дыхания забелил мех и брови. – Не связывай себя, папа. Тебе нужно кое с кем встретиться, поговорить – буду обузой.

Зоя затерялась в толпе. Одних привело сюда любопытство. Узнав, кого будут хоронить, они оставались поглазеть. Другие уже прослышали некоторые подробности и горели желанием узнать побольше, посудачить, высказать свои догадки.

Пока отец не поднимется, она останется здесь, решила Зоя. Потом и она пойдет туда. Невдалеке серели какие-то старинные сооружения и здания. За ними по мосту лейтенанта Шмидта угадывалась Нева.

Курсанты в черных шинелях сгрудились поближе к входу. Держались независимо, браво. Молодые люди, они, должно быть, меньше всего думали о смерти. Вот одна группа построилась и направилась за главстаршиной, на ходу объявлявшим какие-то инструкции. Зоя пошла вслед по широкой лестнице, слышала впереди себя стук курсантских каблуков по ступенькам. И, наконец, тихие, осторожные звуки оркестра.

Люди мешали ей увидеть его. Выше всех, над головами, среди белых тюльпанов и махровых гвоздик, – портрет Юрия, живого, доступного, с улыбкой, тронувшей губы. Таким она несла его в своей памяти, таким он предстал перед ней, и теперь ей было почти все остальное неважно, она пришла к нему и его увидела.

Слезы помимо воли текли по ее щекам; глаза были открыты, и лицо неподвижно.

Она видела Юрия, того, на портрете. Траурная лента ни при чем. Такой был с нею рядом: писал в коричневой тетрадке, зачеркивал, снова писал, ну, словно мальчик-девятник-классник, стыдливо робеющий от прикосновения косички наклонившейся рядом подружки.

Юрия нет! И не будет больше. Она никогда не услышит его голоса, не увидит руки, пальцев его, заалевшего уха, косо подстриженного виска. Живой Юрий, а не тот, еще неизвестный ей, утонувший в цветах. А ведь он бегал за одной-разъединственной красной гвоздикой. Тогда, на вокзале. А теперь – щедрые букеты. Зимой... Пили шампанское... Бударин? Да, адмирал с отяжелевшим подбородком и оплывшими щеками, только что ставший у изголовья... Бударин тогда хохотал, дурачился, требовал «горько», а Юра смущался, отнекивался – так и не поцеловались.

Зоя приподнялась на носки и из-за спины человека в гражданской одежде, стоявшего напротив Бударина в почетном карауле, увидела чужое, бледное до голубизны лицо. Нет, не он. Неужели смерть настолько безжалостно расправляется, искажает по образу своему и подобию, не оставляя никаких надежд, глумясь над памятью?.. Подкатили спазмы, рыдание застряло, не вырвалось...

Сменой военного караула деловито занимался капитан второго ранга с начищенными пуговицами, с повязкой на рукаве. Из соседней комнаты выходили курсанты Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола, все как на подбор – мужественные, широкоплечие, с воронеными автоматами на груди.

Слева среди женщин сидела Татьяна Федоровна. Недобрая цель посмотреть на нее хотя бы издали потеряла значение. Что изменится? Кому станет лучше или хуже?.. Жену утешают, подали воды. Она еле-еле прикоснулась к стакану губами, поправила траурный прозрачный шарф, пикантно прикрывавший высокую прическу. Зоя не хотела замечать заплаканных глаз и горя, продолжала несправедливо думать о ней, о мадам, обвиняя ее не только в смерти Юрия, но и в своей надломленной судьбе. Девятнадцать лет – страшный, беспощадный прокурор.

Какое право имеет Ваганов стоять возле гроба бессовестно, с поднятой головой? Почему отец не отказался пойти с ним в одной четверке? Скачущие мысли на какое-то время заслонили горечь утраты. Зою отгеснили почти в самый угол, откуда мертвого Юрия и совсем не увидеть. Шепотом передавали слухи о результатах вскрытия, погуливало слово «переоблученный». Строили догадки – «столкнули», «таких героев запросто убирают». Зоя невольно вслушивалась. Разговор двух женщин заставил ее покраснеть, как говорится, до корней волос. Называли причиной смерти любовь, негодовали против «разлучницы-девушки».

Зоя протиснулась подальше от злоязычниц.

У гроба сменялся караул. Подошла очередь командира «Касатки» Волошина, штурмана Стучко-Стучковского, замполита Куприянова и адмирала Топоркова. Фамилии называл – Зоя слышала – начальник караула миловидной женщине с открытым русским лицом и теплыми, приветливыми глазами. Она приехала с товарищами из городского исполкома, чтобы отдать последний долг покойному.

– Какие-нибудь есть дополнительные сведения? – спросила она, поправляя нарукавную повязку. – Комиссия ничего криминального не нашла?

– Разрешили предать земле, значит, подозрения отпали. – Капитан второго ранга развел руками. – Если ниточки потянутся... – Он назвал женщину по имени и отчеству и, извинившись, заспешил к дверям зала, в которые входили адмиралы – начальство военно-морской базы.

Адмиралы скрылись в кабинете и вышли оттуда без шинелей, причесанные, с алыми после мороза щеками. Уже на ходу их снабдили повязками, закрепили на черных с галунами рукавах, попросили построиться в затылок друг другу, и начальник почетного караула торжественно повел их, чтобы расставить согласно правилам у гроба.

– Только мы просим простить, дожидаться выноса не будем, – предупредил старший начальник шедшего впереди капитана второго ранга, – провожу командирскую учебу. Лишние пусть здесь не толкаются. Покойный любил порядок.

– Есть, товарищ адмирал!

Адмирал остановился на указанном ему месте, опустил по швам короткие руки... Тяжелые, сильные кисти с набрякшими синими венами. На него обращали внимание, называли должность и фамилию. Жена покойного незаметно прихорошилась, а ее сестра, прилетевшая из Кишинева, наклонилась к ней, и та что-то объяснила, после чего и сестра поправила локон, повела плечом, всматриваясь из-под бархатных ресниц на стоявшего рядом младожавого вице-адмирала с волнистой сединой над крутым лбом, большими губами и Золотой Звездой над широкой пестрой орденской планкой.

Зоя по-прежнему старалась не видеть мертвого Юрия, глядела только на портрет: ей хотелось унести его образ, не тронутый тленом.

Невдалеке старушка с покорным выражением на лице говорила двум наклонившимся к ней мужчинам в военной форме:

– ...Гостил у меня Юрик почти две недели... Нажег света мой сыночек на четыре рубля, все читал, писал, порвет, опять пишет... Кинулась платить, подсчитали – на четыре рубля... Сна ни в одном глазу у него, накапает чего-то из пузырька и опять пишет... Молоко брала у соседки, корова у нее своя, пил и молоко, только мало, губы обмочит, скажет: «Мама, ты не мешай мне, пожалуйста». Без особого сердца говорил со мной, но и без ласки... На четыре рубля нажег...

Зоя повернулась и вышла из зала. Навстречу еще шел народ. Отряхивались, дули на пальцы, снимали шапки, откашливались. У подъезда прибавилось автобусов. Моряк нес связку фуражек. Зоя догадалась – от караула. Сменившиеся курсанты залезали в автобус в зимних шапках, пересмеивались и перешучивались вполголоса. Милиционеры, подъехавшие на мотоциклах, прошли вдоль толпы, потеснили ее, навели порядок, закурили из одной пачки.

Напротив клуба выстраивались вооруженные матросы, по-видимому, вызванные для последнего салюта. Строй подравнивал молоденький белокурый лейтенант, с большим вниманием оглядевший Зою, подошедшую к милиционеру, чтобы спросить, как поближе пройти в гостиницу.

– Прямо! – он указал на ту же улицу, какой они пришли сюда. – Исаакий – и прямо!

Зоя перешла площадь по утоптанному снегу, миновала грязные сугробы и пошла по левой стороне старой улицы.

Не таким представляла она прощание с Юрием. Слишком скользкие права у нее, чтобы вести себя по-другому и не показаться наивной и смешной. Все, что окружало его, складывалось дольше и надежней, в том числе и супружество, какой бы ни была его жена, пусть даже виновницей смерти.

Исаакиевский собор поднимался будто укутанный в замороженную пленку бледно-голубого тумана. Мертвый храм с огражденными железной решеткой папертями. Давно умершие апостолы и святые, отлитые на порталных входах, наглухо закрытых для людей. За белыми голыми деревьями угадывался Медный всадник, словно облачко, бегущее к Неве. Прямо – бывший «Англетер», где покончил с собой Есенин. Юрий говорил о нем, читал стихи, бранил поэта за легкомысленное отношение к собственной жизни, козырял Маяковским, а тот тоже... Невеселая улыбка скользнула по губам Зои. Она попыталась отмахнуться от этих дум, поднялась на лифте на свой этаж, долго открывала дверь ключом, пока ей не помогла дежурная. Войдя в номер, бессильно опустилась на стул.

Ей не стало теплей, ноги не отошли, только растаял иней на волосах и прядка прилипла ко лбу, за воротник скатились студёные капли. Она поежилась и подумала: «А ему там все равно».

Отец вернулся в сумерки.

– Как себя чувствуешь, Зоя? – обеспокоенно спросил он.

– Ничего.

– Ты не ездила на кладбище?... Правильно поступила. Все равно его не вернешь, а простудиться можно.

Он говорил деланным, неестественным голосом, и слова доносились откуда-то изда-лека, будто через стенку. Что еще он хочет сообщить?

– Я говорил со следователем. Никаких осложнений.

– То есть? – вяло выдавила Зоя. – Для кого нет осложнений?

– Что, сама не понимаешь?

– Догадываюсь. – И ядовито добавила: – Нет преступления?

– Да, – неприязненно бросил он.

Дмитрий Ильич умылся, сменил рубашку. Ему хотелось общения, а дочь надулась.

– Письмо было? – наконец спросила она, поняв состояние отца.

– Не говорят. Вряд ли...

– Почему?

– Вряд ли он захотел бы компрометировать кого бы то ни было. Он был приличный человек.

– А если бы оставил письмо – неприличный?

– Зоя! – отец снова вспылил. – Жизнь гораздо сложнее, чем ты думаешь. Тебе впервые пришлось столкнуться с ней лицом к лицу, и сразу столько... – он не договорил, отмахнулся, придвинул к себе телефон, вызвал междугородную.

– И сразу столько разочарований, – дополнила Зоя, – больше того... горя. – Она почувствовала внимание к себе и продолжила более искренне, сердечно: – Тебе приходилось стелкиваться, мне еще нет. Во всяком случае, я начинаю плохо... Тебе удастся находить людей, которые помогают оттаивать, а я никого не вижу возле себя, кроме... родителей.

Дмитрий Ильич внимательно слушал это откровение своей дочери и снова убеждался в своей отцовской несостоятельности. Мало, оказывается, платить за квартиру, газ и свет, покупать платья и обувь, требуется гораздо большее от сложной должности отца, и особенно в этот период, когда формируется... когда недостаточно сюсюканья, мимолетной ласки и сентиментальных писем изда-лека.

Слова дочери звучали как упрек, и, чем они были мягче, тем острее боль. Да, он порой убегал куда-то на край советской земли, забирался в дальние гарнизоны, залезал в атом-

ную субмарину, встречался с интересными людьми и заряжался их энергией. А дочь оставалась почти на произвол судьбы, и ей приходилось самой познавать, оценивать, приобретать привычки. Ему ничего не стоило пригласить к себе Лезгинцева, наградить его ореолом и – невольно подготовить почву... Получилось почти по-книжному: «Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним».

Междугородная дала Москву. Разговор с женой продолжался недолго: опять – Зоенька... «Прости меня, не брани ее, мы решили неосмотрительно, по-бабски, но я иначе не могла, потому Зоенька...»

– Мне жаль маму, – сказала Зоя, – я ее подвела. Не сердись на нее. Она у нас хорошая, папа. Кстати, какие у тебя завтра дела? – Правильно поняв его молчание, сказала: – Если возникнут какие-то сомнения или кривотолки, ты не бойся за меня. Меня костят девчужкой-разлучницей, сама слыхала... Если надо восстановить истину...

– Ничего не надо восстанавливать, – глухо попросил Дмитрий Ильич, – ты ничего не разрушала. Не старайся вылезти на первый план, дать повод, а сплетникам рот не заткнешь... Завтра я побываю у Татьяны Федоровны, Она требовала моего приезда. Пусть скажет – зачем... Сейчас мы пообедаем, а потом я зайду к Ваганову.

– К Ваганову? Нужно ли?

– Необходимо.

Зоя осторожно попробовала переубедить отца. И снова, вслушиваясь в речь дочери, он удивлялся обстоятельности ее мыслей. Будто другой, неизвестный ему человек беседовал с ним на равных правах.

– Ты в таком легко возбудимом состоянии, а он, судя по всему, хладнокровный, собранный. Побереги себя, папа.

– Я слишком берег себя. – Дмитрий Ильич принялся за суп. – Любителей излишних накоплений иногда именуют скрягами.

Они были вдвоем и могли быть откровенными. В соседнем номере раздавалась финская речь, потом русская, вероятно, говорил переводчик.

– Ваганов дурной человек, папа?

– В личном плане – безусловно.

– То есть в личной жизни? – уточнила Зоя.

– Я это и имею в виду. Он типичный оболъститель.

– Ну, это не так уж плохо. О подобных мужчинах мечтают мои подруги.

– Надо уметь выбирать подруг, – отрезал Дмитрий Ильич.

Зоя промолчала, ссутулилась, нервически дернулись ее губы. Отставив тарелку с недоеденным супом, нехотя принялась за бифштекс.

– Как же преуспевает Ваганов? – спросила она, потупившись. – Обольщением?

– Не иронизируй...

– Тогда кто-то ему протезирует? – настойчиво продолжала Зоя. – Вульгарно выражаясь, блат?

Дмитрий Ильич поморщился, запыхтел, пытаясь завершить разговор, принимающий и острые и неуклюжие формы. Ему не хотелось ссориться с дочерью. Всего проще накричать, цыкнуть.

За окном вспыхнули фонари. Линия матовых точек протянулась вдоль улицы. Слышались работа лифта, стук захлопываемых дверей.

– Только протекцией такого положения не добиться, – сказала Зоя, – нет сомнений, он крупный специалист.

– Да, – коротко отрезал Дмитрий Ильич.

– Гигант?

– Ну, этого я бы не сказал. В его области имеются более крупные авторитеты.

- Кто?
- Это знать тебе ни к чему.
- Не те, которые его встречали?
- О, нет! – Дмитрий Ильич справился с обедом, взглянул на часы. – Во всяком случае, с ним вынуждены считаться.
- Смотреть сквозь пальцы?
- Предъявлять ему счет в области морали я не намерен. Пусть бесится.
- Прежде всего виноваты сами женщины. Он живет... сочно.
- Послушай, – отец готов был вновь распалиться, – не будем распространяться на подобные темы!
- Порочные люди, говорят, больше привлекают?
- Я тебя не узнаю! – Дмитрий Ильич вспыхнул. – Где ты всему этому научилась? Невежливо! Пойми, тебе только девятнадцать. Еще три года назад тебя не пускали на взрослые сеансы... – Зоя сникла. Отцу стало жалко ее. – Отдыхай. Читай «Вокруг света», – сунул ей купленный у лифтерши журнал. – Я пойду к Ваганову.

6

Кирилл Модестович, поджидая Ушакова, в нервном нетерпении расхаживал по гостинной просторного люкса. Чтобы оборонить себя от излишних наскоков, он постарался собрать кое-какую информацию. Приезд Ушакова с дочерью подтверждал слухи о близости к ней Лезгинцева. Хотя и с чувством отвращения к самому себе, но Ваганов заручился неофициальными справками, подтверждавшими этот приезд Лезгинцева в Ленинград и заказ в гостинице отдельного номера для дочери Ушакова. Где Лезгинцев квартировал – неизвестно, домой он тогда не заявился.

Ушаков относился к Ваганову дурно и при желании мог повредить его репутации. Получившая в свое время огласку скандальная история о связи Ваганова с Татьяной Федоровной могла вновь всплыть наружу при столь неблагоприятных обстоятельствах.

Ваганов долго прикидывал, как ему поступить в том или ином случае, и гаденькие мыслишки занимали его расстроенное воображение. В конце концов выработал линию поведения и приготовился отразить любую атаку.

Прежде всего он боялся за собственный авторитет, под которым подразумевал свой вес в обществе, созданный благодаря умению скрывать грешки большие и малые, напускать важность, заручившись надежными покровителями и друзьями, способными в нужную минуту сказать на белое черное. Ваганов в ожидании гостя заказал коктейли, апельсины, оделся просто – в твидовый костюм с искорками по светло-серому фону шотландской ткани.

Ему хотелось придать свиданию более непринужденный характер. Ваганов относился к пишущей братии пренебрежительно, считая журналистов людьми как бы второго сорта, но одновременно и побаивался их, зная мощную силу печати. Разговаривать начистоту с человеком мало ему знакомым он не решался. Вспоминая разговор в поезде, негодовал: «Ишь ты, ржавое перышко, упрекает в эгоизме! Мне хоть земля тресни!»

Ушаков явился в точно назначенное время. Широкая улыбка хозяина почти не произвела впечатления на гостя. На лице Ваганова были заметны следы озабоченности. Расстегнутый ворот шерстяной рубахи, мятый костюм Ушакова в другое время шокировали бы Кирилла Модестовича.

– Что за смесь? – небрежно спросил Ушаков.

– Прошу, Дмитрий Ильич! Коктейль типа «таран». Выполнен знаменитым барменом.

Ушаков присел к столику, положил ногу на ногу, взял бокал, брезгливо отложил пластмассовую трубочку, заменявшую соломинку.

– Я пришел с единственной целью, Кирилл Модестович, самому разобраться в причине гибели Лёзгинцева, – твердо предупредил Ушаков, – мне он дорог. – Дмитрий Ильич отхлебнул из бокала.

– К вашим услугам. – Ваганов насторожился.

– Расскажите мне популярно, если вам позволено, что произошло с Лезгинцевым? Сенсация или правда? Почему его называли переоблученным? Вы, говорят, знаете...

– Не больше и не меньше других. – Ваганов помедлил, испытующе взглянул на Ушакова. – Это произошло в период освоения атомных энергетических установок. Когда? Сравнительно недавно. Наш цех самый молодой. – Ваганов полностью пришел в себя, и его голос зазвучал с прежней мягкой баритональностью. – Прежде всего могу вас успокоить. Наш больной не заразный. Конечно, если иметь дело непосредственно с изотопами...

Ушаков движением руки остановил его:

– Меня не это волнует...

– Извините, почему не это? Вам пришлось быть вместе с ним весь поход. В одном заклетке, так сказать. Вы делились кое с кем своими опасениями.

– Неужели Бударин с вами разоткровенничался?

– Во-первых, не Бударин, а во-вторых, почему со мной нельзя откровенно говорить? Разве я не храню такие тайны, от которых у другого лопнула бы черепная коробка? Если мне доверяет государство в целом, почему не может довериться один человек, частица, пылинка?

Ваганов ловко разыграл обиженного. Ему удалось напроситься на извинения, простить, показать свое великодушие.

– Мы, знаете, частенько растрчиваем себя по пустякам, – методично произнес Ваганов, принимая вторую дозу коктейля, с молниеносной быстротой доставленного на мельхиоровом подносе расторопным официантом.

– Бывает, – согласился Дмитрий Ильич. – Но иногда за пустяки принимают принципиальность. Здесь я не согласен.

– Мне бы хотелось расстаться друзьями, – сказал Ваганов. – Выбор у меня ограничен вне замкнутого технического круга. На дружбу к тому же необходимо время, а его в обрез. – Он извинился, сменил штиблеты на комнатные туфли, пожаловался на ревматические боли суставов. – Все то же Заполярье. Однако давайте закончим с Лезгинцевым. Мы испытывали... – Ваганов замялся. – Номер проекта вам ничего не скажет. Поэтому назовем его иксом. В первом контуре в реакторном отсеке произошла утечка. – Ваганов раскрыл блокнот, вычертил схему.

– Минуточку, Кирилл Модестович, – Ушаков остановил его, – вряд ли я разберусь в столь сложной схеме. Что Лезгинцев?

– Что? – Ваганов умоляюще поднял руки. – Вы знаете его характер. Сам полез. В горячке пренебрег самыми элементарными мерами защиты. – Ваганов приподнял брови. – Словом, прихватил Юрий Петрович лишку, не смертельную, но большую дозу. Оставили его на флоте. Ну, наблюдали, конечно. Однако эта штука коли вошла, так вцепилась. Ее ни в Цхалтубо, ни в Мацесте не выгонишь...

Помолчали. Ваганов взял бокал с аловатой жидкостью, выпил его залпом.

– Вот так. Лезгинцев будто нарочно лез на рожон. – Ваганов взъерошил волосы. – А все же зря Юрий расчувствовался. Нельзя доводить себя до исступления. Заниматься любовью нужно толково, без перхлестов...

Ушаков поднялся, откланялся. На эту тему ему не хотелось продолжать беседу. Было противно слышать о том, что любовью надо «заниматься».

– Простите, Кирилл Модестович.

– Не смею задерживать, Дмитрий Ильич. – Ваганов услужливо распахнул двери. – Вы будете у... вдовушки?

– Обещал. Завтра.

– У нее все улеглось. Умные люди посоветовали. – Ваганов в коридоре взял Ушакова за руку. – Только мой совет: к ней – без доченьки. – У Дмитрия Ильича покраснели уши. – И второе, в части сугубо материальной. Хотя дело щепетильное. Сами понимаете, нельзя поощрять слабохарактерность, тем более в офицерской среде, но все же, кажется, командование базы решило возбудить ходатайство о пенсии жене и матери. Дальше как-то устроится, а пока... Татьяна Федоровна скакала при муже, а когда кормильца нет, на одной ножке не попрыгаешь. Фактически она беспомощный человек. Что она может делать? Провела лучшие годы на краю света, под крылышком... Ей-богу, если она сама не заслужила, то ради него...

Они расстались холодно.

7

В ленинградской квартире Лезгинцева Дмитрию Ильичу бывать не приходилось. С трудом разыскав новостройку и проблуждав возле подъездов, он наконец добрался до лифта. Озябший и неуверенный в благополучном исходе визита, Ушаков распутал заиндевевший шарф, причесался. В мутном зеркальце лифта он увидел свое посеревшее лицо, резко очерченные морщины и тусклые, виноватые глаза. «Не нравишься ты мне, папаша. Возьми себя в руки, держись козырем!»

Остановившись возле двери, Дмитрий Ильич постарался набраться мужества, хотя в голове молоточками постукивало: «Приезжайте, расхлебывайте». Неуравновешенная, больше того – взбалмошная, Танечка пугала его, а заверения Ваганова могли обернуться лишь уловками стреляного волка.

В квартире толклось много людей. Самой хозяйки не было видно. Впустившая его седая юркая женщина спросила у порога:

– Вы насчет памятника?

– Нет, не насчет памятника.

– Звонили из горсовета, обещали прислать человека, – затараторила старушка. – Пока поставили из нержавеющей, со звездочкой. А потом будет надгробие – воинская часть будет делать. Где-то я номер части записала...

– Мне бы повидать Татьяну Федоровну, – попросил Дмитрий Ильич. – Моя фамилия – Ушаков. Из Москвы.

– Из Москвы? – старушка заулыбалась. – По поводу пенсии? Танечка, товарищ из Москвы...

– Где? Кто там? – отозвался утомленный голос Татьяны Федоровны. – Проходите, пожалуйста. Сирокко, помоги...

Появилась женщина в черной юбке, красной кофточке, с развитыми бедрами и пламенными глазами.

– Сирокко, сестра Танечки, – с ходу представилась она. – Вы товарищ Ушаков? Не так ли? Танечка! Дмитрий Ильич!

– Дмитрий Ильич, дорогой, где же вы застряли? – Татьяна Федоровна поднялась навстречу и тут же приникла к его широкому плечу. – Куда вы вчера делись? Я пригласила близких, друзей. Небольшой круг... Вас так не хватало... Как вы тепло сказали у могилы... – Она приложила платочек к глазам, всхлипнула, быстро оправилась. Вчерашняя прическа сохранилась и носила следы свежего лака. Вместо траурного платья на ней был черный костюм и белая кофточка с высоким воротничком.

Дмитрий Ильич усадил ее на место, произнес несколько успокоительных фраз, кивком головы представился присутствующим в квартире женщинам с поджатыми губами и мужчинам со скорбными лицами.

– Сирокко! – позвала Татьяна Федоровна. – Поддай Дмитрию Ильичу чашку чаю. Вы озябли? Такая мерзкая погода, ужас.

Она поправила на коленях юбку, засунула скомканный платочек за широкий браслет, монотонным голосом рассказала о своих переживаниях.

Сирокко принесла чай. Ее пальцы были унизаны кольцами. Прямые смолистые волосы собраны на самой макушке и завязаны лентой. Во всем ее облике чувствовалась знающая себе цену провинциальная зрелая львица.

– Живу в Молдавии, – рокочущим грудным голосом сообщила она, – моему имени не удивляйтесь. У нас папа был с небольшим зайчиком, – покрутила пальцем возле своей головы, – торговый моряк, точнее – шкипер. Сирокко – подумать только! Ветер такой есть.

Дмитрий Ильич пришел в себя, принялся за чай. За столом сидели степенные безмолвные старушки и мужчины в пиджаках давнего покроя, с гордыми осанками и тяжелыми морщинами на изношенных лицах. Такие люди неизменно присутствуют на поминках, а откуда они появляются, не всякому известно. Они прихлебывали чай, намазывали масло на тонкие кусочки хлеба, раздавливали баранки, неторопливо размачивали их и осторожно жевали, опасаясь повредить вставные зубы.

– Вы бы написали о Юрии Петровиче, – сказал один из них, наиболее сохранившийся, крайне интеллигентно, без стука, помешивая ложечкой в стакане. – А то: живет – никто ничего, только, мол, после смерти. Умрет – по давню забыли. Хорошо, если комок глины швырнут в могилу, а то и этого сделать им некогда. Конусок из нержавейки водрузят, пришьют дощечку – и на том все заботы... Вспомнят в дни юбилея, ежели по качеству содеянного подходит, и опять каждый за свои дела...

– Ладно ты, Евсей, – остановил его сидевший рядом мужчина с двойной планкой орден. – Теперь – следопыты, наследники славы... Тебя разве мало вызывают в школы, на собрания?..

– Так я-то еще не под конусом! – сказал первый и опять занялся размещиванием стойкого рафинада.

Отдельно, в глубоком продавленном кресле, неподвижно сидела маленькая старушка в черном шарфе на седой, гладко зачесанной голове. Большие, знавшие физическую работу кисти рук тяжело лежали на коленях. Отрешенный взгляд заплаканных глаз выражал неизбывное горе. Это была мать Лезгинцева. Судя по всему, она чувствовала себя здесь одинокой и чужой. На нее мало обращали внимания, обносили даже чаем.

Скорбные сожаления нагнувшегося к ней Дмитрия Ильича она выслушала бесстрастно, будто не веря им. И только в конце поднесла ладони к лицу, уткнулась в них, заплакала.

Татьяна Федоровна тронула Ушакова за плечо, недружелюбно глянула на старушку.

– Пойдемте. Мне надо с вами поговорить.

Мать отняла руки от лида, сжала бескровные губы. Тихо, будто разговаривая с собой, сказала:

– Она тут командир. Она и его утащила...

В спальне Татьяна Федоровна села у трельяжа с накинутой на него черной траурной кисеей, а Ушакову предложила пуфик. Неудобство низкого пуфика восполнялось открывавшимся из окна видом широкого проспекта с громадами новых домов на сизом метельном фоне.

В войну проспекта не было. Невдалеке шли упорные бои между траншейными войсками. Бывший боец, вероятно, не смог бы признать местности, так все изменилось.

На стенах – на фотографиях – Лезгинцев. Он появился тут недавно, после смерти.

– Поглядите на этот снимок – Юрий с командующим. Он еще не получил Героя. А на другом – с главкомом. А это? Узнаете Максимова? А вот у лодки. Снимал московский репортер. Волошин, возле него старпом Гневушев, штурман Стучко-Стучковский... Вам все знакомы.

Расплывчатый силуэт подводной лодки, очертания рубки больше угадывались. Снимок был сделан, судя по одежде и пейзажу, летом.

– «Касатка»?

– Да, Дмитрий Ильич. Неправда ли, будто сто лет прошло? Не кажется ли вам?

– Пожалуй...

– Вам тоже тяжело?

– Как и всем остающимся в живых.

– То есть? – она нетерпеливо ждала ответа.

Дмитрий Ильич подвинулся к окну и, продолжая наблюдать за непрерывным движением на проспекте, ответил:

– Мертвому все безразлично.

– Утешение слабое. – Она зябко поежилась, искоса посмотрела на себя в зеркало: – Говорят, я стала хуже.

– Я бы не сказал, – уклончиво ответил Дмитрий Ильич, не склонный продолжать разговор в таком духе. – Если уж говорить откровенно, вы переменялись к лучшему... Извините меня...

– Я постарела, Дмитрий Ильич, – она сделала нетерпеливый жест, остановила его возражения. – Душой постарела. Раньше рассуждала – я самая хорошая. Теперь – другое.

Из столовой доносился глухой говор. Выделялся резкий голос Сирокко. Татьяна Федорова недовольно поморщилась, притворила плотнее дверь.

– Его смерть невероятна... Я не могу примириться. В Юганге я проклонила Югангу. Теперь я вернулась бы туда, не колеблясь ни одной минуты. Только бы он остался... Помните северное сияние, Дмитрий Ильич? Мой глупый поцелуй? Там я была еще девчонкой. Считала себя жертвой века, причисляла к потерянному поколению. Не надо, Дмитрий Ильич, не разубеждайте меня, – попросила она в ответ на его возражения. – Вы знаете меня больше других, но я-то знаю себя лучше всех. Первые минуты я себя не винила, я искала виновных повсюду... Я нашла его письмо к вашей дочери... Он не отослал его. Большое письмо, полное диких признаний. – Дмитрий Ильич сжался. Он не знал о существовании такого письма. – Не беспокойтесь. Я никому не показала его. Зато ревность вернула меня к жизни... – она говорила тихо, медленно. – Не будь такого побочного обстоятельства... – она улыбнулась. – Сирокко из-за ревности взрезывала себе вены. У нас такая кровь, мстительная, горячая... Мы, безусловно, цыгане, отец фантазировал – из древних валахов или еще откуда-то. Цыгане! Ничего предосудительного. Я обожаю цыган, если хотите... Хотя шут с ними, привязались на язык. Как вы считаете, что основная причина?

– Не знаю, – Дмитрий Ильич уклонился от прямого ответа, – почти два года я с ним не встречался.

– Но потом он был у вас.

– Вы сами знаете по его письму...

– Поэтому я не спрашиваю, а утверждаю.

Дмитрий Ильич насторожился, его голос стал суше.

Перед мысленным взором всплыл Ваганов. Не готовят ли они оба для него западню? Она будто разгадала его мысли:

– Не придумывайте себе лишних врагов. Я ищу причину.

– Вы же отыскали ее... в себе, – жестко сказал Дмитрий Ильич.

– Что же мне, смириться с этой мыслью? – она неприятно посмотрела на Ушакова. – Вы насторожены? Напрасно. Я категорически отвергаю значение девчонок-разлучниц. Ему не восемнадцать. – Она прикрикнула на сестру, влетевшую было в комнату. – Юрий был тем, за кем охотятся.

– Вы предполагаете преступление? – осторожно спросил Дмитрий Ильич. – Или комиссия...

– Ах, комиссия, комиссия, – она закурила. – Никто не хочет углубляться, осложнять. А возможно, мне и не говорят. И не скажут. А если скажут, то не сейчас. Ведь многое не ясно.

Дмитрий Ильич попытался разобраться в потоке ее слов. Она рассуждала правильно со своих позиций. Ее прикрутили к колеснице. Существует категория людей – первооткрывателей. Они идут вперед по нехоженным тропам: летчики-испытатели, атомщики, разведчики больших глубин, космонавты, ракетчики, подводники... Профессии можно умножить. Им хуже, чем другим. Они в постоянной опасности. К ним должно быть особое отношение. Не только к ним – к их женам, детям, родителям. То есть к тем, кто привязан к колеснице.

– Дамочка отправляет мужа на курорт и, извольте, волнуется, места себе не находит, а мы провожаем своих мужей в океаны, подо льды, на целые месяцы. Внутри их жилья – атомные реакторы. Это не девчонка на пляже, не лев в джунглях, не ангина или аппендицит... Вы думаете, ваша супруга спокойно отправила вас под воду?

– Полагаю, что нет, – сказал Ушаков, понимая ее все больше и больше.

– Многое мне пришлось передумать, – продолжала она, – всю жизнь перевернешь, от детской куклы до первого поцелуя. Признаюсь, я его дразнила. А он кипел от бесшумной ярости. Он не прощал мне ничего. Безумно ревновал. Но ни разу не оскорбил, не устраивал омерзительных сцен. Постепенно я отпугнула его от себя... Вы понимаете, в каком смысле... Он был болен.

– Лейкемия?

– Да. Он понял болезнь не сразу. Я вчера говорила с доктором Хомяковым. Он ходил на «Касатке». Медицинская комиссия пропустила его, надо думать. Отравы вливалась незаметно: «Ни цвета, ни запаха». – Татьяна Федоровна замолкла, вся собралась и вдруг стала холодная и чужая. – Вы бог весть что подумаете. Я себя не оправдываю. Я мало щадила его. Мне казалось, он отвечает той же монетой. Комиссия собирает анализы и бумажки. Разве можно узнать причину по номеру билета на электричку?

Сирокко все же ворвалась:

– Выйди к людям, Татьяна, неудобно, – руки Сирокко описывали круги, – выражают сочувствие мамаше, а она...

В столовой народу прибавилось. Пришел майор в морской форме договориться об обелиске. Костистый фотокорреспондент с «телевиком» потребовал снимки из семейного архива и, когда ему отказали, «щелкнул» Татьяну Федоровну и мать покойного, затем отошел в угол, прищурился, обождал, пока Ушаков присядет к матери, и их «щелкнул». Спросил у Сирокко фамилии, имена снятых, записал, равнодушно поглазел на собравшихся и скрылся...

Часть вторая

1

Зимой с одного из военных подмосковных аэродромов ушел самолет Главного командования Военно-морских сил, имея на борту адмирала Максимова и специального корреспондента Ушакова.

Адмирал Павел Иванович Максимов отправился в очередную командировку по делам политического управления. Дмитрий Ильич Ушаков – для участия в операции «Норд»: атомную подводную лодку отправляли в кругосветный поход. Это было за два года до гибели Лезгинцева. Его еще не знал Ушаков. Больше того, не догадывался о его существовании.

Поршневой «Ил» вел подполковник Савва, вторым пилотом был азербайджанец капитан Самед. Так его и называли – по имени. Сегодня день рождения шеф-пилота. Экипаж сложился на подарок – портативный магнитофон. К подполковнику Савве приближался мемуарный возраст, и свои воспоминания он хотел доверить магнитной ленте. А Савва знал многое и многих. Вначале, в войну, он летал на бомбежки вплоть до Берлина, затем перешел на спецрейсы и познакомился с рядом крупных фигур военно-морского ведомства.

Служебный самолет выглядел более спартанским в сравнении с пассажирским. Военные не приучали себя к комфорту. Единственное преимущество – можно поспать, вытянуться, а в остальном – ни бортпроводниц, ни электрических плит. Еда? Если прихватили из дому. Чай – в термосе. Все! Попав на самолет с голубыми звездами, вы отрешаетесь от гражданских соблазнов.

Чем дальше несет вас на север могучая птица, тем меньше шансов увидеть привычное солнце. Последний раз скользнет его луч по крылу, прорвется внутрь, осветит кремовый репс, вспыхнет радужный круг у винта, и после этого напрасно будете искать его щекой, глазами. Нет! Кандалакша, Хибины, Апатиты, стайки промерзших озер, гранитные складки драгоценной Кольской земли.

В самолете пассажиров три человека: Максимов, его адъютант Протасов и Ушаков. Должны были лететь два полковника из редакции журналов «Советский воин» и «Старшина – сержант», опоздали или задержались. Им придется добираться обычным путем – либо поездом, либо самолетом до Мурманска и дальше по трассе машиной.

Адмирал Максимов уселся в кресло по правому борту – любимое место, принялся за утреннюю почту, предложенную ему адъютантом. Пока почта не просмотрена, лучше не трогать адмирала.

Ушаков видел его спину, густые русые волосы, черные погоны с тремя звездами. У адмирала завидная биография. Много плавал, воевал, много моряков воспитал.

Он депутат Верховного Совета. Ушаков в душе завидует, скорее, не ему, а его подчиненным. Со своими начальниками Дмитрий Ильич не всегда находил контакт. К этому чуть что – можно обратиться и получить обстоятельный ответ и помощь.

Впереди серьезное испытание – «автономка» под водой. Длительность и маршрут по вполне понятным соображениям Ушакову неизвестны. Пункт отправления – тоже. Командир корабля – тем более.

Знатоки-алхимики по биографии выварили его в семи котлах. Медики выстукали, прощупали, просветили. Супруга проводила без энтузиазма: «Тебе больше всех нужно, лезешь во все дырки». Дочка еще находилась в возрасте молодых восторгов, проверила в чемодане свою куколку, амулет счастья, сопутствовавший ему во всех путешествиях, выбрала наибо-

лее удачную свою фотокарточку: «Я тоже буду плавать с тобой». Очаровательное существо семнадцати лет от роду бестрепетно глядело на мир.

Карточка небольшая, по-фронтовому положил в партбилет. Как бы то ни было, хоть и точит разлука, впереди живое, новое дело, другой нравственный климат, впереди море, моряки – тянуло туда.

Максимов наконец закончил с бумагами, спрятал очки, подозвал адъютанта. Молодой лейтенант, читавший леоновский «Русский лес», очутился возле адмирала, принял из его рук папку.

– Цветы отнесли, товарищ Протасов?

– Еще перед взлетом, товарищ адмирал.

Речь шла о букете, привезенном Максимовым для летчика Саввы. Цветы послала жена адмирала Клавдия Сергеевна.

– Отдыхайте, товарищ Протасов. – Максимов подсел к Ушакову: – Не помешаю, Дмитрий Ильич?

– Ну, Павел Иванович... – Ушаков отложил газету. – Закончили свою канцелярию?

– Да разве закончишь? – Максимов безнадежно отмахнулся. – С каким настроением отправляетесь к нам, Дмитрий Ильич?

– С хорошим, Павел Иванович.

– Приятно слышать. Вы меня извините. Мне докладывали, что вы звонили. Я замотался перед отъездом... Если не потеряли желание, Дмитрий Ильич, поговорим сейчас?

Ушаков заметил, как расплывчатые, мягкие черты лица Максимова стали тверже. Улыбка на миг задержалась у рта и погасла. Ушаков изучил его характер. Максимов не только приготовился слушать, он как бы приказывал говорить.

– У нашего брата частенько бывают перепады, – издали начал Ушаков, – рабы настроения. Что-то почудилось, а где-то и всамделишно залепили по уху, неприятно. А человек – как котел. Еще пар стравить можно, а вот когда топка зашлакуются...

– Надо расшлаковать, – Максимов заполнил затянувшуюся паузу. Он глядел не на Ушакова, а куда-то вниз, пожалуй, на завернувшийся коврик.

– Стоит ли втягивать, Павел Иванович? У каждого своего по горло. Расшлаковка души – дело тонкое. – Ушаков виновато улыбнулся, искоса взглянул на адмирала.

– Мы, политработники, и обязаны заниматься вот этой самой расшлаковкой. – Он потянулся, поправил ногой коврик. – Профессия такая. И не только. Поручение такое.

– Только не браните потом себя за отзывчивость. Прошу учесть, я не отношу себя к неврастеникам или к страдающим манией преследования. Родители-крестьяне наделили меня здоровьем и крепкой психикой. Думали, стану кем-то вроде Стаханова. Прочили меня к дяде на антрацит. А меня заразило печатное слово. Из районной газеты – в областную, затем в институт журналистики. В войну в строю побыл недолго, самое трудное время. Вытащили. Больше года – во фронтовой, потом закрепили за флотской газетой. Да вы знаете мою историю, Павел Иванович.

– Это предыстория, как я понимаю?

– Вероятно, – согласился Ушаков. – История впереди. Я, правда, нерегулярно, веду дневник. Проглядел его перед отъездом – мрачно. Отмечены черные понедельники, четверги и субботы. Даже одно черное воскресенье... – Дмитрий Ильич рассказал, как твердо влитый в праздничный номер его очерк о рабочем классе был заменен статьей.

– Может быть, интересная статья, нужная? – осторожно спросил Максимов.

– Скучная статья, не праздничная...

– Ну, чем же редактор объяснил такое?

– Сказал: нет, мол, живинки в очерке, вообще, мол, занято, по фактуре выпукло, но – прямолинейно. Рабочий класс подходит к своей цели тоже с умом, а вы его выстраиваете, как

капеллецев. Сейчас необходимо проникать в противоречия. Нас обстреливают. Под огнем переползают...

Максимов рассмеялся:

– Забавный ваш редактор. Я его встречал на приемах и не думал, что он такой остряк. Выпивать он мастер, заметил невооруженным глазом... Ну и как вы...

Дмитрий Ильич рассказал, как понесло его на Дальний. Ездил на нартах. Ел мерзлую струганину. Ночевал в чумах. Подружился с людьми, поднявшими недра. Когда-то их называли дикарями. Отцы их меняли на Аляске шкурки песцов. Привозили оттуда винчестеры и плоские чайники фирмы Свенсона. А редактор твердил: «Занятно. Но где порыв? Кого они атакуют? Нет остроты. С кем-то они вступают в конфликт? Что-то их точит?»

Рукопись перекечевала на кухню, потом в печку. Легко проходили в газете фитюльки. На затычку. Их не замечали, как заставки или виньетки. А люди делились с ним своими думами, он видел их дела.

Бросился в литературу. Попал на дамочек с глазами, как у русалок, – скучные, все им претит: «Время бездумного патриотизма прошло, товарищ. Люди протерли глаза, сняли розовые очки...»

Один из преуспевающих, приехавший на собственной «Волге», сказал глубокопроникновенно: «Перчинки нет у тебя, точнее – этой самой тухлятинки, Митя. Разоблачительный элемент у тебя под спудом. Патриоты? Есть такие. Декларируем. А надо шарить поглубже. Алмаз и то выкапывают из глины. Покажи первородный материал. А ты сразу отшлифованный. Почти пятьдесят лет революции? Это довод? Нет, это запрещенный прием в споре интеллектов. Сколько существовало царство Урарту? Кто о нем помнит? Историки, ну и, возможно, еще кто-нибудь».

Попробовал в кино. Хотелось показать истребителя, дерзновенного и озорного капитана, этакого флибустьера неба, любимца летной братвы: знал такого на фронте, дружил.

Договор под развернутую заявку заключили. Сценарий вылился быстро. Время идет. Приехал на студию. Глаза в сторону: «Коллегия не утвердила. Аванс, возможно, оставим, посоветуемся с юристом». А объяснение? «Летчик? Был Маресьев. Чухрай шагнул дальше, а вы... не сумели вперед. Помните, в фильме пилот отягчен сомнениями. Бомбовозы на соплях, проморгал великий стратег. Вот это попадание в яблочко. А вы тот же период – на пафосе! Переделки? Философию не переделаешь. Ваш герой наделен качествами, верно. А вот страсти коренной перестройки в нем нет... Суррогат. Двигается по эскалатору. Он не сжигает за собой корабли. Какие? Пора догадаться».

– Вы пробовали с кем-нибудь говорить, Дмитрий Ильич?

– Пробовал.

– С кем?

– Опять мне не повезло. Попал на человека, который больше всего заботился о личном спокойствии.

– И что он сказал?

– Его резюме было построено тонко. Ни одной опрометчивой фразы. Если отвечать шелуху, смысл примерно таков. Ему нужно искусство, подобно дарам данайцев. Таких троянских коней он закатывает на фестивали в Канны и еще там куда. Чтобы все было по-европейски, без социальных острых приправ, причесано по моде. Героизм? Нужен. Бранил дегероизаторов, но рекомендовал героев для внутреннего употребления. Там, мол, микстуру взбалтывают, замечают муть, отвергают. Когда-то «Броненосец “Потемкин”» или «Мать» не расстраивали их желудков, а теперь время другое. Буржуа стал прозорливей и дальнороче. Его следует усыпить, а потом повалить. Мы должны дотянуться до уровня века, сам век не наклонится к нам...

За окнами самолета было темно. Гудели моторы, так же, как и давно, при переброске парашютных десантов.

– И что же, у него это сознательно?

– Не знаю.

– М-да. – Максимов задумался, посерьезнел. – Конечно, вы попали на случайных людей. Для таких не важна политическая, классовая направленность искусства.

– Тогда зачем их назначают? – в сердцах спросил Ушаков.

– Это вопрос другой. Мы его называем кадровым.

– Любому пионеру ясно, а кадру неясно. Как это понимать, разрешите вас спросить, Павел Иванович?

– Минуточку, Дмитрий Ильич, – Максимов прикоснулся к его руке, – я здесь ни при чем, как вы сами догадываетесь. Но мимо проходить не стану, потому и пытаюсь разобраться.

– И я пытаюсь, Павел Иванович. И все же у меня, у коммуниста хотя и не ахти с каким стажем, не укладывается в голове, как можно терпеть такие идейные завихрения, не бороться с ними? Да им нужно дать смертный бой.

Максимов подождал, пока его собеседник успокоится. В хвост машины прошел борт-механик в меховых унтах, старых военных унтах. Высунувшийся из кабины Самед оглядел салон, прихлопнул дверь.

– А откуда вы взяли, что с вредными буржуазными влияниями в искусстве не борются? Вы же не все знаете. Поговорили с одним-двумя с завихрениями и уже – вывод. В искусстве, я убежден, много людей глубоко партийных, они его не дадут в обиду.

– Все правильно, но обидно в наше время нести потери.

– Чтобы иметь потери, нужна война.

– Война идет, Павел Иванович. Идеологическая. Разве партия нас не предупреждает?

– Ну, вот видите.

– Иные насмеются над убежденностью. – Ушаков старался высказаться до конца. – От таких понятий необходимо, мол, отказываться, чтобы не прослыть старомодным или, того хуже, ортодоксом. Для иных Павел Корчагин – не герой нашего времени. Якобинская убежденность – синоним ограниченности. Следует отыскивать не прямые дороги, а лазейки. Шаманы колдуют бормотком, как известно. И люди, занятые идейным шантажом, разговаривают вполголоса. Самые скверные и лживые слухи передаются шепотком. Есть отдельные типы, Павел Иванович, которые поставили целью увести от ясных задач... Дай бог, чтобы я ошибался...

Максимова такой откровенный разговор заинтересовал как коммуниста и гражданина, хотя он понимал, что, как и в крайних суждениях, здесь также присутствует изрядная доля личного, однако дыма не бывает без огня. Нет сомнений, идейный фронт подвергается сильным атакам со стороны апологетов буржуазии, причем не лобовым, тактика изменена.

– Вы верите, нытикам что-то удастся? – Максимов поставил вопрос прямо. – Они настолько могучи?

Ушаков мучительно улыбнулся. Удовольствие исповеди заканчивалось, начинался диалог.

– Нет! – Дмитрий Ильич встал, укрепился ступнями на шатком полу. – Стараюсь убедить себя в обратном. – Самолет проваливался, и, пока вновь установился на «ровный киль», мутная тошнотка переместилась снизу вверх, зашепотало в горле.

– Наша страна огромная, она дышит, борется, сеет, жнет... металл добывает, уран, уголь... – Разошедшись, он горячо говорил о герое своего очерка – голубоглазom титане, перегораживающем реки, о своей вере в таких людей.

– Вот видите, – воскликнул обрадованный Максимов, – а вы горюете!

– Я не горюю, Павел Иванович. – Ушаков сел, провел ладонью по волосам. – Я верю. Есть люди, их огромное большинство, они не позволят ослабить силу нашего искусства, нашей литературы. Вы правы, с каждым днем появляется все больше высокоидейных, боевых произведений. Может быть, для вас все это не интересно?

– Для кого – для нас?

– Для военных.

– Почему вам так показалось?

– У вас все проще. Есть устав, есть яблочко, цель. Попал – отлично! Если что – приказал! Не исполнил – наказал!

– Нет стены между нами и вами, Дмитрий Ильич. Кровь одна бежит по капиллярным сосудам. Хотя, честно говоря, забот и болезней вашей среды я не знал. Мне казалось, ваша жизнь гораздо безоблачнее. Жаль, не поделились со мною раньше. Не ваша вина. У нас тоже бывает... Только крутимся мы на миру. А на миру и смерть красна. Представляю, как вас замкнули, – он очертил круг на столе, пытливо взгляделся в сконфуженное лицо Дмитрия Ильича. – Среди моряков отойдете. Попадете в другую обстановку. Только прошу заранее: за суматохой можем подзабыть, что-то сделать не так.

– Я неприхотливый, Павел Иванович.

– Не только в этом дело. – Он помолчал. – И у нас найдете: не все гладко. Люди везде люди. Идеальные существуют лишь в воображении... Хотя я не перешел бы на дистиллированную воду. В ней убиты все микробы, но и вкус не тот...

В салоне появился Савва. Остановился возле двери.

– Сердечное спасибо, товарищ адмирал, за цветы, за поздравление, вот как... Тронут вашим вниманием, товарищ адмирал.

– Не заставляйте меня краснеть, Михал Михалыч. Благодарить вам придется мою Клавдию Сергеевну. Ее цветы. Я могу извиниться, за толчеей не вспомнил, а вот пообедаем вместе, если не помешает делу.

– Трасса спокойная, товарищ адмирал.

– Самед не подведет, – сказал адмирал, – давайте самообслуживаться.

Внимание сосредоточивалось на имениннике.

– Имеется бутылка шампанского, товарищ адмирал, – лейтенант потянулся к баулу.

– Дайте-ка ее сюда.

– Разрешите, товарищ адмирал? Ни одной капельки не пролью. – Протасов любовно оглядел бутылку.

– Шампанское имениннику, – Максимов взял бутылку, – разрешается после приземления.

– Спасибо.

Адъютант налил чай из термоса. Изредка самолет попадал в воздушную яму, он шел по приборам. Приходилось следить за стаканом.

– Побеседуй с Михал Михалычем, – посоветовал Ушакову Максимов, – у него занятная биография. На крутых поворотах все же его в кювет не занесло.

Савва охотно отозвался на беседу. Рассказал о фронтовых делах. Еще в Финскую он летал с известным летчиком – капитаном Попко, хорошо знал Преображенского, Плоткина, Полозова. Те были постарше его, выше по званиям. Крутые повороты относились к предвоенным годам, и о них Савва вначале говорил неохотно, опасаясь излишних сочувствий.

– Мучеником не хочу показаться, вот как... Досталось мне? Досталось. И что? Кто лес, кто щепки? Отец мой на ромб не дотянул, а три «шпаль» носил, вот как... Моего отца взяли случайно, с кем-то спутали. Отец замахнулся на следователя, схватило сердце, помер. Меня тоже забрали, вытащили из бомбардировщика, мальчишкой еще был, лет двадцати, не

больше. Выручила Землячка, знала она отца, заступилась. Чуткая была коммунистка, всегда ее буду помнить...

Сидел перед Ушаковым маленький человек с мягким носиком и белыми бровями, а глаза твердые, стальные. Стоило прихмуриться Савве, подогреть себя изнутри – другим становился, куда девалась его неприглядность, настороженность.

– Только меня не жалейте, – строго попросил Савва, – а то, извините, рассказал одному, он и пошел, поехал. Взял меня, как дубину, и ну гвоздить. У меня камня за пазухой нет. Не отрекаюсь и не казню... Да, были ошибки, тяжелые, страшные. Но сколько сделано, как страну подняли! – Савва дал понять, что беседе конец, проходя мимо адмирала, пообещал прислать штурмана для объяснения обстановки.

Штурман, подвижный, очень молодо выглядевший, с нежным, аккуратно вылепленным лицом и сочным голосом, разложил на столе карту. Красная линия миновала перемычку между великими озерами – Ладожским и Онежским, приближалась к условной линии Полярного круга.

– Погода? На месте?

– Полчаса назад пошел снежный загод, товагищ адмигал.

– Какое у них настроение?

– Пгинимают. Там мощная система. Сами не спгавимся, пгитянут, товагищ адмигал.

2

Словно рулон вязкого шелка, стремительно разматывалась полоса аэродрома. Мимо пронеслись пунктирные огни, посадочные знаки, расплывчатые силуэты ракетноносцев.

Вслед за мягким прикосновением колес погасло щемящее чувство неопределенности. В хвост быстро прошел бортмеханик. Пахнуло снежным воздухом. В овале двери возникла черная фигура Максимова. Заблестевшая от направленного света верхняя площадка трапа, казалось, выводила куда-то в другой, запретный и потому загадочный мир военного Заполярья.

Максимова встречали радушно. Командующий флотом мог и не приезжать, если бы он придерживался статута встреч. И Максимов бы на него не обиделся. Достаточно было члена Военного совета – вице-адмирала, с которым Максимов работал в Москве, подружился семьями, что вынуждало их обоих к повышенной требовательности друг к другу и каждого – к себе.

Командующий флотом в белой от инея шинели сердечно поздоровался с Максимовым. У командующего было худощавое, с резко выраженными линиями, усталое лицо, отчетливый голос. Ушаков был рад познакомиться с человеком, о котором так хорошо отзывались его флотские товарищи. Командующий мельком взглянул на Ушакова, и только вторичное представление Максимовым заставило его как бы извиниться за невнимание.

– Вы его еще не знаете, Дмитрий Ильич, – сказал командующий авиацией генерал Муравьев, знакомый Ушакову еще с войны, – честнейший и доступный человек наш комфлота. Знакомьтесь с моими орлами!

Муравьев, огромный, курносый русак с рассеченной осколком щекой, авиационные генералы – будто на подбор, гвардейского роста, знаменитые летчики.

– Рады вам, Дмитрий Ильич! – Муравьев незаметно от начальства потискал Ушакова в своих лапищах, упрекнул: – Изменили авиации. Слышал, тянет вас под воду.

– Что поделаешь. Критики советуют забираться в глубину, – отшутился Ушаков.

Автомобили подвинулись ближе, на бетонку. Дмитрий Ильич вглядывался в ту сторону, где стояли ракетноносцы, распластав свои темные крылья.

Муравьев, подняв голову, наблюдал за посадкой одного из таких гигантов. Рев его отдавался в ушах.

– Дальняя бомбардировочная?

– Ядерная, ракетноносная, – добавил Муравьев. – Год назад, помните, мы были куда беднее. А сейчас душа радуется. Так раздвинули диапазон, Дмитрий Ильич...

Максимов позвал Савву, стоявшего вместе со своим экипажем у левого крыла, представил его всем как именинника.

– Сегодня у Михал Михалыча день рождения, – объявил он, – оставляем его на попечение авиации. Прошу любить и жаловать, товарищ генерал-лейтенант, и соответственно событию отметить.

– Отметим, товарищ адмирал. – Муравьев обласкал дружеским взглядом смущенного именинника. – Мы с Мишей давно на «ты». Еще с Ейского училища.

– Послужные дела мы ваши знаем, а вот как сумеете...

– Во всяком случае, под стол не свалимся, товарищ адмирал. – Муравьев приосанился.

Максимов обратился к Савве:

– Будьте готовы, подполковник! Задержимся здесь... – срок не назвал.

Машины миновали ворота, часовых, вышли на шоссе. Еще недавно мерцали одинокие огоньки среди каменных сопок. С трудом пробивались в снегах транспортные колонны. Наспех сколоченное жилье было пределом мечты. Никто и тогда не роптал: надо так надо! Чтобы создать современные базы, города, проложить дороги, требовались не только энергия и ресурсы, а прежде всего колоссальная воля. Человек дрался с природой. Еще не все сделано, как и везде, вехи движения выносятся вперед, дальше и дальше.

Городок назвали именем летчика-героя. Слава пришла к нему в самое тяжелое для Родины время. Безумная игра со смертью ежедневно, ежечасно могла закончиться только одним.

Будто на виражах кружился, падал и снова стремился вперед город героя. От тундрового стойбища ничего не осталось. Даже старые каюры, мчась на оленьих упряжках, пели новое имя.

С замирающим стоном заходил тяжелый воздушный корабль. Его прожекторы прожгли и раздвинули мрак. Огненно-дымные струи, будто ракетные следы, пронеслись и погасли.

Старшина за рулем улыбнулся, незаметно скосив глаз на кометный след. Пожалуй, и ему, не раз видевшему и не такие виды, было приятно.

Сопки сменяли одна другую. Их вершины, обдутые ветром, походили на отлитые из стали бронеколпаки. Воображение рисовало скрытые повсюду форты. Пейзаж был необычен: суровый, без всяких украшений, словно в первые дни мироздания. Восторги здесь неуместны, страх – тоже.

За городом крутило погуше. Луч фары упирался будто в стенку. Еще мгновение – порыв ветра потрянул машину на скользком взгорке. Косой заряд плотного снега ударил от тундры.

– Ничего, – успокоил шофер Ушакова, – заряд налетает и уходит, как смерч.

– Не опасно?

– Мы тут с завязанными глазами можем.

Шофер сбавил ход, наклонился к стеклу. Из-под очистителей с повизгиваниями разлетались льдистые крупинки. Запрыгали колеса. Адмиралы по-прежнему тихо беседовали, не обращая внимания на привычный им разгул полярной стихии. Расшвыривая сухой снег, навстречу полз бульдозер. Дальше дорога улучшилась. Заряд иссяк. Сугробины поднимались валами брустверов по обе стороны магистрали.

– Ракеты впереди, – сказал шофер, – проскочим их, потом на венец, там снега меньше.

– Где?

– На прицепах. Ишь, холодно им, укутали...

Мощные вездеходы, вращая гусеничными лентами, тащили ракеты. Одну, другую, третью... Здесь «быть начеку» не просто лозунг на праздничном плакате.

Водитель будто подслушал мысль Ушакова:

– Сталевары заняты сталью, шахтеры – углем, а наш брат – обороной.

– Тяжело?

– Нужно. Привыкли.

– Привыкают не сразу.

– Само собой разумеется. Неспроста новобранец писал отсюда: «Мама, тут нема земли – одни камни, нема воды – одно море, нема людей – одни солдаты».

Поднявшись между скал, будто оплавленных атомным взрывом, машины покатали быстрее по расчищенному гребню, обгоняя грузовики и тягачи. Вскоре с высот открылся город. Бухта была похожа на кратер вулкана.

– Дмитрий Ильич, вначале нам предлагают пообедать, – сказал Максимов. – Переночуем на крейсере. Не возражаете?

Во всех случаях Ушаков предпочитал гостиницу – свободней и проще. Однако следовало считаться с Максимовым.

– В тех местах, где возят по дорогам «мамашки», мое дело – выполнять волю начальства.

– Может быть, в гостиницу? – спросил член Военного совета.

– Еще одно детище адмирала Туркая, – добавил командующий. – Туркай был начальником тыла.

Максимов оставался непреклонен:

– С детищем познакомимся в порядке экскурсии. Мы люди постоянные, кораблям не изменяем...

Освещенный электрическими огнями, город все же принадлежал полярной ночи. Повсюду, куда не проникал свет, держался свинцовый мрак. Опрокинутая огромная чаша, наполненная искристым светом, опускалась в бухту. Лицом к лицу человек стоял перед Ледовитым океаном. Вольно или невольно поединок начался. Возникли и твердо укрепились новые Седовы, Лаптевы, Дежневы.

Сюда доходило теплое дыхание Гольфстрима. Иней вырастал на каждой шерстинке меха, на ворсинке сукна, на бровях и ресницах. Адмиралы и подъехавшие следом сопровождающие офицеры любовались зданием штаба. Его «привязывали» к местности и задачам. Кто из классических зодчих согласился бы повернуть эркерную часть не к морю, а к глухой, высокой скале? Архитектор вынужден был разрушать эстетические каноны. Так и конструктор современного корабля расставался с некогда живописными орудийными башнями, вычерчивая взамен их пусковые установки ракет.

Каменный корпус у гранитной горы не убежище для канцеляристов и не здравница у южного моря. Отсюда управлялось хозяйство большого военного флота, рассредоточенного на сотни миль вдоль побережья высоких широт.

Холодные моря, суровый, закованный льдом океан, огромные острова со своей ни на минуту не утихающей жизнью, таинственные фиорды, их называют губами, айсберги и торосы. Здесь погибали микробы. Сюда налетали птицы, снабженные дополнительной шубой из легчайшего пуха. Только моржи и тюлени не боялись купаться в воде, запретной для человека. Солнце надолго оставляло купол планеты. С непривычки здесь можно завывать. А Дмитрию Ильичу дышалось легко. Сердце билось нормально. Он быстро поднимался по лестницам штаба, обычно именуемым трапами. Одежда согрелась и парно пахла расплавленным в тепле здания инеем. Обувь оставляла следы.

Командующий был немногословен, приветлив, с достоинством. На лице – застенчивая улыбка.

– Я попрошу вас к столу, товарищи, – сказал он и пропустил вперед Максимова и Ушакова.

За обедом, как положено, служебных разговоров не вели. Интересовались Москвой, погодой, театральными новинками, здоровьем и успехами тех или иных друзей с Большой земли.

Из четырех человек только Дмитрий Ильич был посторонним. Цель его приезда командующему была известна. С Ушаковым он не встречался, а был наслышан от Максимова. Командующий не особенно обольщался пирушкой публикой. Флот был серьезный, малодоступный. Поверхностные корреспонденции иногда появлялись в печати. Командующий не придавал им особого значения: могли быть, могли и не быть. Сравнительно недавно, приняв командование от своего знаменитого предшественника, назначенного в центр, адмирал повел свое дело уверенно, без скачков, как говорится, впрягся. Продолжение освоения Арктики проходило по строгому и неуклонному плану. Подледное плавание стало обычным делом. Наступило время более смелых походов. Свежие силы, новые лодки, крупные задачи. Глобальная стратегия обеспечивалась сложной, молекулярной сетью оперативных задач.

Появление «чужого» в святая святых могло быть оправдано лишь в том случае, если этот «чужой» полностью станет своим, изучит их, поверит им, морякам арктического щита, заставит поверить широкие массы в надежность защиты. «Пусть узнают, что мы недаром грызем сухари». Адмирал присматривался к Ушакову. Он не хотел рисковать. Прежде всего – выдержит ли? Автономный поход готовит много разных людей. Те, кто пойдет, обязаны быть эталоном не только духовной, но и физической выносливости.

Член Военного совета чутьем догадывается и старается задобрить командующего, подать гостя на блюдечке:

– Боксером был Дмитрий Ильич. Поглядите на его руки! И гири подкидывали, а? Сердце-то как хороший мотор. Помните, как взлетели вы на пятый этаж?

Действительно, был такой случай в Москве. Встретил он нынешнего члена Военного совета возле закрытого на ремонт лифта. А им, оказалось, нужно было в одну и ту же квартиру, к адмиралу Бударину «обмывать Героя». Пришлось взлетать на пятый. Однако эти разговоры навеяли тихую тоску. Затея с походом могла и не осуществиться. Максимов постарался ввести беседу в более спокойную колею, а после обеда порекомендовал отдохнуть с дороги.

– Я еще здесь побуду, Дмитрий Ильич, а вы – на крейсер. Советую – горячую ванну.

– Меня не забракуют, Павел Иванович?

– С чего бы это вам показалось?

– Какие-то нотки... – Ушаков замялся.

– Поймите и их, – успокоил его Максимов, – им надо выполнить задание. Они отработывают все пунктуально. Каждому не хочется той самой пресловутой горсти песка в подшпники... Надеюсь, все будет в порядке. Ванну обязательно, и покруче...

Лейтенант Протасов всегда появлялся в нужную минуту. Его добротный, стойкий оптимизм поддерживался молодостью, приятной внешностью, умением найти себя в обществе.

– Нет-нет, Дмитрий Ильич, пешком не пойдем, – решительно предупредил он, – поглядите, как опять повалило. К пирсу! – приказал он шоферу. Обернувшись с переднего сиденья, темпераментно рассказал о местном ансамбле песни и пляски. – А какие там девушки!

– Вы не женаты, лейтенант?

– Что вы, что вы, Дмитрий Ильич! – воскликнул он весело. – Я очень разборчив. Если женюсь – только на девушке из заполярного ансамбля... – И он замурлыкал какую-то песенку.

В отсутствие адмирала лейтенант мгновенно перерожден. В нем кипели нерастроченные силы.

Протасов сбежал от машины вниз и застучал каблуками по деревянному настилу пирса. Продолжался отлив, обнажавший линию берега, косматые валуны с темно-зелеными и фиолетовыми бородами и даже окрестные высоты, ниспадавшие к бухте, тоже окаймились черным. В темно-сиреновом воздухе отчетливо выделялись деловитые мачты надводных ракетоносных кораблей, ошвартованных у берега. У сходней стояли часовые, белые от инея; слышалось утробное дыхание машинных трюмов. Подальше отстаивались сторожевики.

– Прошу, прошу! – Протасов приглашал на борт поджидавшего их катера. Его, так же, как и пирс, называли адмиральским.

Протасов очутился возле Ушакова, обдал его щеку паром, пригласил в каюту.

– Здесь до косточек продует.

– Не продует. – Ушаков поднял воротник, выбрал более защищенное место.

Белый катер крепкой грудью разрывал свинцовую воду, оставляя за собой сухо шелестящий бурун. Флагманский крейсер опустил трап. У поручней появились офицеры.

Штурвальный лихо развернул катер и с первого захода попал к нижней площадке трапа. Крючковые задержали катер. Протасов уступил дорогу. Ушаков, памятуя закон моряков, быстро поднялся по трапу и представился дежурному и замполиту. Высокий, с подчеркнуто строевой выправкой офицер скользнул холодными глазами по одетому в гражданское гостю, натянул перчатку.

– Адмирал прибудет позже, товарищ капитан второго ранга! – Протасов козырнул, попросил разрешения следовать обратно, сбежал по трапу.

– Прошу, – замполит сделал приглашающий жест и пошел впереди по правому борту. Вяло приплескивалась разведенная катером волна. Звуки его угасали. Вскоре и от него остались только огоньки, яснее всех – зеленый.

Крейсер был в инее, такой же белый, как адмиральский катер. Низко нависли тяжелые стволы орудий. Они остались позади. На палубе было скользко. Приходилось шагать осторожно. На затянутом облаками небе не проглядывало ни звездочки. Только где-то вдали чуть-чуть светлело – вероятно, занималось сияние. Отсюда рельефней обозначился город с его террасами, множеством огней и редким движением автомашин.

Они вошли в низкий длинный коридор с мерцающими лампочками, белыми толстыми трубами и многочисленными жилами кабелей. Обдало специфическими и знакомыми запахами нагретого металла, паровых труб, просыхающей шаровой краски.

Матросы сторонились, прилипали к переборкам – руки по швам. Из ближнего кубрика доносились звуки гитары: по-видимому, был час досуга.

В теплой каюте поджидал вестовой.

– Если понадобится, вызовите его по внутреннему, – сказал Ушакову замполит, отпуская вестового. – Раздевайтесь. Комфорт небольшой, но ванна готова. Отдыхайте! – Замполит продолжал держаться официально. На его бледном лице отчетливо выделялись пунцовые губы, тяжелые складки у рта и неподвижные глаза.

Ушаков поежился под этим взглядом, поблагодарил.

– Ужинать приглашаю в кают-компанию, товарищ Ушаков. Вы бывали на крейсерах? Значит, расположение вам известно.

После ванны Дмитрий Ильич завалился на койку, мгновенно заснул. Посланный за ним вестовой не отважился его разбудить. Утром за завтраком Максимов сказал:

– Вы пропустили прекрасное зрелище. Такое разыгралось северное сияние!

– Сколько же я проспал, Павел Иванович?

– Сколько потребовал организм.

– Не говорите никому.

– Почему?

– Спишут на Большую землю.

– Крепко спят здоровые люди.

Утром уходили на берег тем же катером.словно в феерической сказке при замедленной съемке расцветали на одежде иглы инея, слипались ресницы, и ноздри выталкивали клубы пара.

Со стеклянным шумом шелестела волна, и брызги остро кололи лицо.

Катер мягко толкнулся о пирс.

– Пройдемся пешком, – предложил Максимов. – Не возражаете?

– Охотно, Павел Иванович.

– Вот и отлично. Какой воздух! Такого воздуха и в колбах не сочинишь.

Они поднимались по снежной тропинке. Держался тот полусумеречный день, какой бывает в обычных широтах вечерами при низкой грозовой облачности.

– Еще душа не оттаяла? – спросил Максимов.

– Появилась новая наледь.

– Вас что-то беспокоит?

– Стыдно возвращаться, если спишут.

– Почему же спишут? Самое главное – здоровье. Если медицина затормозит, вы сами не рискнете, да и мы не пошлем.

В окнах штаба возникали силуэты. Фонари создавали круги кристаллического света, как бывает при сильном морозе. Возле подъезда Максимов околотил обувь, отряхнулся от инея.

Ушаков сделал то же.

– Повторяю, Павел Иванович, я сюда приехал оттаивать, а не домерзать. Формалистов я разыщу вне Полярного круга.

Максимов провел рукой по пуговицам своей шинели, направился к лестнице. Два офицера уступили дорогу, козырнули.

– В вашем характере, Дмитрий Ильич, есть одна черточка... – Максимов подыскивал подходящее определение. – Назовем ее нетерпимостью, что ли... Или несколько точнее, хотя и неудобоваримей для слуха, – гражданственной строптивостью... Не обижайтесь. Я по добру... Есть формалисты, но не отмахнешься и от формальностей. Служба! Одни исполняют ее деликатно, другие неумно пользуются своими правами. Не помню, кто сказал: если ангелу дать власть, у него вырастут рога.

Ушаков невесело усмехнулся:

– И у вас, как у нас.

– Природа самого человека остается неизменной.

На втором этаже штаба Максимов задержался, назвал номер кабинета.

– Зайдите к товарищу Кедрову. Я ему позвоню. И опять-таки дружески советую – не обращайтесь на присущие ему недостатки. Отучали его, отучали. Зато свой шесток изучил. Вас проводит к нему Протасов.

Лейтенант Протасов был по-прежнему жизнерадостен, свеж после хорошего сна, бодр от мороза и попахивал снегом.

– Капитан первого ранга Кедров встречал нас на аэродроме, – объяснил Протасов и нарисовал его образ, назвав щеки пергаментными, губы кислыми, нос безжизненным, глаза кинжальными.

– Помилуйте, лейтенант, – взмолился Дмитрий Ильич, – не подливайте масла в огонь. Судя по всему, свидание с товарищем Кедровым ничего приятного не сулит.

– Да, это, конечно, не Версаль, – неопределенно ответил Протасов. – Вот и его кабинет. Входите без стука. Адмирал успел его предупредить. Уверяю, вам ничего не грозит, Дмитрий Ильич.

Капитан первого ранга Кедров был прежде всего службистом. Характер его отливался в опоках твердых инструкций. «Мой долг быть человеком своего долга», – любил несколько выпренно повторять он в ответ на упреки. В обычной обстановке Кедров не следил за своей одеждой, донашивал, как говорится, дотла. Сегодня же, в связи с приездом адмирала Максимова, крайне требовательного к внешнему виду подчиненных, он блистал твердо накрахмаленными манжетами с агатовыми запонками, таким же воротничком и костюмом с иголки. Тщательно замаскированная лысина и отшлифованные ногти выдавали не только франтовство. Попробуйте так скрупулезно уложить волосок к волоску, не будучи в душе педантом. При входе висело зеркало. Мельком взглянув в него, Ушаков устыдился своей взлохмаченной шевелюры, а о мятой рубашке и брюках с колоколами на коленках и говорить нечего. Стоило бы прибегнуть к услугам вестового на крейсере. Кто-кто, а матросы – мастера по части глаженья.

Кедров принял его с изысканной, пожалуй, подчеркнутой, любезностью, что удавалось ему с трудом. Чтобы держать себя в норме, он перебирал пальцами по школьному компасу, будто по четкам. И эти движения, вытянутое, постное лицо, пренебрежительно опущенные уголки тонких губ не вызывали симпатии.

Судя по вопросам, Кедров начинал свои знакомства с азов. Каждый пришедший к нему был для него как бы чистым листом бумаги. Он сам узнавал и прощупывал человека. Такие службисты неизбежны, куда существует аппарат. Они сохраняются в ведомственном балласте, как мумии фараонов.

Ушаков размышлял так: если рассматривать себя с позиции Кедрова, можно обнаружить немало изъянов. Институт не кончил, из действующих частей перекинулся в газету, перелетал с фронта на фронт, стремился не к матушке-пехоте, а то в авиацию, то к морякам, одним из первых отозвался на сенсационные залпы «катюш». Почему на самом деле, а? Если ты в тылу, почему не на фронте; если на фронте, почему не ранен; если ранен, почему не убит?

Из тысяч «почему» одно особенно заинтриговало капитана первого ранга: желание попасть на атомную. Побывал на крейсерах, ходил на торпедных катерах, на дизель-аккумуляторных подлодках – почему тянет на атомные? Эти борзописцы, мало им, обязательно забираются чуть не за пазуху, в тайный кармашек...

Для Кедрова незыблемо существовало начальство, и он умел подчиняться. Однако в душе считал себя альфой и омегой флота. Командиры – командовали, политработники – воспитывали, он – перепроверял. Он крутил триер, отбирающий полноценное зерно.

Обстановка, окружавшая его, вызвала почтение: кнопки звонков, «клавиатурный» телефон, сейф, обкопченный сургучным дымом, карта от потолка и до пола и даже, что и совсем странно для его должности, таблица светлого и темного времени суток под настольным стеклом.

Беседуя на отвлеченные темы, Кедров как бы расставлял приманки и усыплял бдительность. Своим надтреснутым голоском он подталкивал то к той, то к другой ямке. Кедров выстраивал факты, сличал их довольно умело, старался набрести на след. Многого ему было ни к чему: давила привычка, иначе действовать он не мог.

Беседа развивалась в благоприятном направлении, носила непринужденный характер при туго натянутых струнах. Лирические подробности меньше всего интересовали Кедрова, будто уплывали туманом мимо серых его щек и сосредоточенных глаз. Буравчик выдвигался откуда-то из глубины и вскоре должен был просверлить тут и там, как бы для пробы грунта.

Кедрову оставалось произвести уточнения, пройтись еще кое-где щупом, чтобы окончательно убедиться самому, не оставить белого пятнышка.

– Заранее прошу извинить, – Кедров поиграл компасом, – не расценивайте как формализм или придирки. По партийной линии у вас не было никаких осложнений? – Он укрепил

компас в неподвижности, прилег грудью на краешек стола, и аскетическое его лицо непроницаемо застыло.

– Были осложнения. – Ушаков нетерпеливо поерзал, глухо добавил: – Выговор был. Сняли.

– Так-так. – Кедров облегченно откинулся в кресле, оживился, морщинки задвигались прежде всего на лбу, обтянутом сухой, бледной кожей. – Не только ради любопытства – проинформируйте...

Дмитрий Ильич с тоской вспомнил бурное собрание в пятидесятом – накаленные страсти, бесполезно растрачиваемая энергия, моральная мясорубка, иначе не назовешь. Стоило вступить за товарища, хранившего огнестрельное оружие, и пошло-поехало... Пистолет был именной, с пластинкой на рукоятке, подарок командира партизанского отряда на Брянщине, куда пришлось раньше летать Ушакову с этим товарищем через линию фронта.

Выслушав, Кедров спросил:

– Там и гравер был?

– Где?

– В Брянских лесах.

– Разве гравер не мог уйти к партизанам? – голос Ушакова заклокотал. – Или граверы служили одним немцам?

Кедров снисходительно вынес резкость, только кончики его плоских ушей покраснели. А Ушаков вспоминал допрос на собрании. И тогда сомневались в гравере. Сомнения у собрания зародил выскочивший к столу президиума корреспондент, работавший в войну в далеком тылу, бесцветный, унылый субъект, набивший руку на доносах. Позже его изобличили в каком-то мерзком деле, изгнали из партии, назвали проходимцем.

– Гравер, конечно, мог быть среди партизан, – заметил Кедров, – но лучше бы для страховки документиком снабдить... Бумажка много не тянет, а весома... весома...

– Товарищ Кедров, пожалуй, достаточно об этом, – сурово остановил его Ушаков, – не отнимайте у себя время.

Кедров сдержался, сглотнул слюну, глаза его прищурились. Пробежавшую между собеседниками черную кошку прогнать не удалось. Он спросил о старых ранах, вписанных в воинский билет, не дают ли о себе знать.

– Как мне кажется, товарищ капитан первого ранга, мы забираемся в чужую область, – сказал Ушаков. – Предполагаю, медиков мне не миновать.

– Не поймите нас превратно, – Кедров поднялся, уперся костяшками полусогнутых пальцев в стол, – нам приходится... – Он вышел из-за стола. – Документы сдадите мне, после медосмотра. Ну и вам понятно: полное сохранение. Не мы просим, государство требует...

– До свидания, товарищ Кедров! – Ушаков тряхнул протянутую ему руку не то от радости расставания, не то из озорства.

– Ого, боксерская! Поддадите, не возликуешь, а? – Кедров выпрямился. – Если не возражаете, отобедаем вместе?

– Спасибо. Павел Иванович уже пригласил.

– О, тогда мы растворяемся, Дмитрий Ильич... Извините, я не предупредил, – экая забывчивость! – вас поджидает капитан второго ранга Куприянов.

3

Безымянная дверь закрылась. Ушаков облегченно вдохнул калориферное тепло коридора и направился вдоль него по ковровой дорожке в надежде отыскать Куприянова древним способом – с помощью языка, доводившего любого паломника до святограда Киева.

Его нагнал посланный вдогонку лейтенант, юноша с меднистыми волосами, остриженными по последней моде. Дело в том, что ни Куприянов, ни начальник медицинской службы Хомяков не значились в штате и потому постоянного места не имели. Лейтенант обладал недурными манерами, двигался энергично, скользящей походкой и, как попутно выяснилось, занимал не последнее место в конькобежных соревнованиях училищных команд Ленинграда. Ему страсть как хотелось попасть на атомную лодку, а причислили к штабу, хотя он получил техническое образование и был переполнен вдохновенными порывами.

За короткое время лейтенант сумел сообщить все эти сведения о себе. Для сотрудника отдела Кедрова такая разговорчивость могла показаться странной.

Этажом ниже, в конце коридора, изогнутого глаголем, лейтенант остановился, пропустил Ушакова в комнату, пахнущую известью и олифой. На загрунтованном полу была проложена дорожка из газет в другую комнату.

Четверо моряков встали при появлении офицера, а когда тот ушел предупредить Куприянова, снова заняли свои места и продолжили прерванный разговор.

– Храбрость – дело такое: в одном положении – храбр, в другом тот же человек – трус, – говорил мичман Снежилин. У него была отличная мускулатура. Бицепсы выпирали из-под кителя, играли под черным сукном. Широкие плечи, гладко выстриженный затылок, чистая кожа, а на левой руке вместо традиционного якорька наколот символ новой эры – формула цепной реакции атома. – Скажу, к примеру, о себе... Возьмем пулю. Пускай прошивает – не боюсь. Снаряд – пожалуйста. Нужно в зараженный отсек – не моргну. А увижу паршивый нож – холодею. – Снежилин поежился, потер ладони. Чистая шея вдруг зарябилась пупырышками. – Однажды в Мурманске у стадиона «Труд», знаете место, нарвался на меня бич. Из средств у него – бакенбардики и шотландская бороденка. Думаю, давай, давай. А как щелкнул, выпрыгнула у него финка. Я и того...

– Сдрейфил? – спросил матрос. Голос с акцентом, лицо природной смуглоты с желтизной, широкие скулы и монгольского разреза глаза.

Снежилин медленно обернулся, потрогал свои щеки, подбородок, сдержанно ответил:

– Я не сдрейфил, товарищ Муратов. Обезвредил бича приемом и подкинул дружинникам. Я регистрирую свое чувство. – Снежилин помолчал, насупился, продолжил с натугой: – Моего родного брата, офицера, на моих глазах убил пацан-сопляк ножом. Из-за глупой ревности. На танцуйке. Мне тогда было тринадцать. Пять ночей передо мной ножик прыгал, будто меня норовил в живот. Подстегнуло, видно, в какой-то развилке в одном из полушарий, – показал на голову, – и чуть что похуже – по этой колее красный стоп-сигнал.

Белобровый синеглазый старшина, бесстрастно слушавший разговор, посмотрел на часы.

– Почему-то нас не вызывают.

– Начальник – думает, матрос – ждет, Бердянис, – сказал Муратов, неодобрительно поглядывая на неизвестного гражданского, вытащившего из своего кармана блокнот и ручку.

Муратов моргнул Снежилину на Ушакова, и тот сделал знак остальным. Замолчали. Ушаков остро почувствовал себя чужим. Ему хотелось влиться в их компанию, задавать вопросы да и самому отвечать, но это пока было невозможно.

Выручил лейтенант, позвавший Ушакова.

Замполит Куприянов встретил Дмитрия Ильича с улыбкой, которую обычно называют ослепительной. Все в нем – безмятежные глаза, ровный румянец, хорошей лепки губы и даже родинка на щеке – отмечало его молодость, ненаигранное прямосердечие. Таким был в самом деле Куприянов. Позже, в походе, Ушакову не пришлось разочароваться в нем, а сегодня он как-то сразу согрел его.

– Очень рад, Дмитрий Ильич. – Куприянов сжал его руку между своими ладонями, глядел на него улыбающимися глазами. Он был чуточку повыше Ушакова, тоньше в талии, с

хорошо развитой грудной клеткой и прямой длинной спиной. На нем отлично сидела форма. Брюки сшиты по моде, тужурка черного бостона. Пожалуй, Куприянов умел и пофорсить, но это было в меру и не крикливо.

В комнате, густо заставленной канцелярской мебелью, стояли прислоненные к стенкам картины в тяжелых рамах. Окно упиралось в обледенелую скалу и было забрано решеткой.

– Не обращайтесь внимания на разруху. Ремонт. Там обвалилось, тут потекло. В нашем климате строительство – врагу не пожелаю... Вы были у капитана первого ранга Кедрова?

С той же приветливой улыбкой он выслушал Дмитрия Ильича.

– Не будьте жестоки к Кедрову, хотя первое впечатление отвратное. А потом проникаешься к нему уважением. Я лично, убейте меня, не смог бы двух дней просидеть на его месте. Вначале он напомнил мне полковника О'Хейра из штаба американской армии в период боев в Сицилии. О нем пишет Брэдли. Помните заявление О'Хейра о собственной персоне: «Они считают, что начальник отдела личного состава – сукин сын, и я докажу, что они правы».

– Брэдли я читал давненько, – признался Ушаков, – и могу поручиться – полковника О'Хейра не помню. А вы лихо оперируете...

Куприянов докурил сигарету, очистил пепельницу от окурков, открыл форточку.

– Отучаю себя от курева, – он протянул Ушакову леденец, – побалуйте. Вижу, вы не курите. Хорошо. А насчет лихости не удивляйтесь. Недавно из академии. Извилины еще незаметные. Вы находите – я бравирую?

– Нисколько. – Ушаков пристально наблюдал за Куприяновым. Заметил смущение, больше того – огорчение, будто написанное на его лице.

Куприянов был отличен от многих политработников, с которыми приходилось Ушакову встречаться. Сумеет ли этот молодой человек завоевать, доверие грубоватых, могучих ребят?

– У меня есть дурная, на мой взгляд, черта в характере, – с прежней застенчивостью продолжил Куприянов, – похвастаться чужими мыслями... – Он поглядел на часы, на дверь. – Привычка осталась от плавания. Скучно под водой, придумываем кроссворды по истории, вводим розыгрыш кубка Нептуна на лучший «треп». Вот когда приходится шарить и по истории, и по литературе. Разрешите пригласить ребят, Дмитрий Ильич? Меня ожидают гидроакустики. Они приезжали на сборы гидроакустиков флота. Тут, в одной из губ. И только что вернулись катером. – Извинительно добавил: – Мне с ними служить, а им – со мной. У нас ознакомление обоюдное. Не хочется, чтобы они дурно думали о своем комиссаре.

– Пожалуйста. Если я не помешаю, посижу в качестве безмолвного свидетеля.

– Представить вас им или не надо?

– Думаю, не стоит.

– Добро! – И, подойдя к двери, пригласил моряков.

Снежилин отрапортовал о прибытии, назвал звания и фамилии людей своей группы. Его настороженные глаза встретились с глазами замполита, дрогнули ресницы, зрачки потеплели.

– Садитесь, товарищи, – пригласил Куприянов. – Как добрались?

– Хорошо, товарищ капитан второго ранга!

– На катере?

– Так точно.

– Как в море, товарищ мичман?

– Балла четыре-пять... – Снежилин назвал мыс, где их потрепало, и устроился рядом с литовцем. Скованность прошла, все почувствовали себя свободней.

Можно было предположить, что эти люди где-то проходили курсы или тренировку. Возможно, они прибыли с этой же целью со своей базы, и подготовка была впереди. Во всяком случае, это были члены команды атомной лодки, первые оттуда, и Ушакову хотелось

знать, какие они, в чем их отличие от остальных моряков, в чем особенность. Пока они ничем не отличались и, кроме наколки у Снежилина (а ее мог сделать любой), ничто не говорило о их принадлежности к атомному подводному флоту.

Из беседы выяснилось – Снежилин участвовал в трех «автономках», имеет стаж плавания подо льдами; Донцов служил «по третьему году», металлист из Курска, окончил техническую школу; Муратов работал техником по ремонту оборудования на казанской меховой фабрике; литовец Альгиз Бердянис не сумел до призыва попасть в консерваторию, зато пришелся на флоте как лучший гидроакустик, плавал на дизельных, на атомной пойдет впервые.

Происходит как бы взаимная проверка. Низшие по званию вопросов не задают, но выводы их безошибочны. Молодой замполит ребятам, видимо, нравится.

Фамилия Куприянова не значится в комнате боевой славы. По возрасту ему не пришлось воевать. Это не Колышкин, не Щедрин, не Гаджиев. Ему приходится труднее, нет ореола. Созревали и Куприяновы и Снежилины почти в одни годы. Война не прошла и мимо них. Детям тоже пришлось нелегко. Они не упрекали отцов, живых или мертвых. Победителей судят хилые, подозрительные и порочные. В будущем им, Куприяновым и Снежилиным, придется справляться самим, под прищуристым оком предков. Перспектива ясно просматривалась благодаря таким рядовым биографиям. Да, им, молодым людям, продолжать дела отечества и отвечать за него. Линия горизонта не двоилась, растворялась во мраке.

Эти пять молодых людей займут свои места в стальных отсеках и скроются в глубине океанов.

Замполит продолжал. За окнами – ночь, хотя время суток дневное. Темно-фиолетовая краска уплотняется. Снаружи подвывает.

– Сколько у вашего отца орденов, товарищ Донцов?

– Точно не могу сказать, товарищ капитан второго ранга. Много.

– Видели?

– Показывал коробок, товарищ капитан второго ранга. – Предвосхищая следующий вопрос, твердо разъясняет: – Коробок с орденами. А медали мне подарил, когда я ходил в третий класс. Играть подарил медали... – Донцов смотрит на замполита неумолимыми, дикуватыми глазами.

Легче всего провести назидательную беседу. Можно и не затрагивать «несознательного» родителя. Что бы ни говорилось, подчиненный не будет перечить. И на заводе, и тем более на флоте – в почете дисциплина. Донцову легче, чем другому, сдерживать свои порывы, не вступать в пререкания: подчинение воле начальника давно стало законом для матроса.

– Почему медали вместо игрушек, товарищ Донцов? – будто между прочим спрашивает Куприянов, перелистывая подшивку тощей папки.

Донцов потеет со лба. Молодое лицо становится старше. Отвечает не сразу, после короткого совета с самим собой.

– Почему? – он резко вскидывает голову. – Кто же его знает! Нам, мальчикам, лишь бы блестело да звенело. А ему они уже ни к чему... – Донцов замыкается. Его порыв иссяк.

Замполит не спешит с выводами, пытливым наблюдением следит за впечатлением от этого откровенного признания. Снежилин настроился худо к Донцову, неодобрительно глядит на него. На импульсивном лице Муратова выражено ожидание. Бердянис вытянулся, шевельнул кистями рук на коленях, бесстрастно замер.

– Медали ни к чему... – повторил Куприянов. – Чем вы объясняете, товарищ Донцов?

– Отцу никак не могут дать квартиру. У него ранения, был разбит позвоночник, у матери ревматизм от сырости. Писал во все концы и большим и малым. На очередь поставили. Потом перерегистрация, отодвинули сотни на две назад. Домком заткнул жалобу «текучим ремонтом», как у нас говорят. Я понимаю, товарищ капитан второго ранга, у нас

в Курске туго. В горисполком лучше не обращайся. А отец инвалид. Если бы работал на производстве... Кому он теперь нужен? К депутату ходили: писал, просил...

Куприянов записывает: «Квартира т. Донцову. Письмо в обком КПСС». Донцов называет адреса невнятно – не надеется. Замполит полон задора, и его борьба за жилье для родителей этого матроса станет одной из его многочисленных задач.

Дмитрию Ильичу нравится молодой пыл Куприянова, только бы подольше хватило, чтобы как можно позже пришло к нему «позорное благоразумие», поменьше бы ему царапин и шрамов. Вспоминается длительная канитель, почти тяжба с устройством своего быта и, наконец, привал на улице Гарибальди. Тоже не раз хлестали по самолюбию. Заныли воспоминания, как старые раны на непогоду. Поежился Ушаков, встряхнулся.

На очереди был Муратов. Его отец служил у Рокоссовского, в противотанковой артиллерии. В какой армии или дивизии, Муратов не знал. «У Рокоссовского» – пожалуй, достаточно. Отец погиб первого мая сорок пятого. Как передавали очевидцы, от взрыва фаустпатрона.

Снежилин отвечает более или менее точно:

– Отец ушел на фронт танкистом в Уральском добровольческом корпусе. Танки сделали рабочие на свои средства, за счет сверхурочных, также моторы и пушки к ним. Немцы называли их корпусом «шварцмессер», из-за ножей...

– Каких ножей, товарищ Снежилин?

– Обтянутых черной кожей, товарищ капитан второго ранга. Ножи поставили им златоустинцы.

Куприянов внимательно слушает историю корпуса, почерпнутую Снежилиным от ветеранов. Замполит не знал о корпусе «черных ножей». Больше того, не встречал человека, который бы рассказал, как сами рабочие трех областей Урала поставили армии танковый корпус со всем личным составом, оружием и вспомогательными службами.

– Кто командовал тогда фронтом, товарищ Снежилин?

– Маршал Советского Союза Жуков, товарищ капитан второго ранга.

Неожиданно вмешался Муратов:

– Мы уважаем маршала Жукова!

Куприянов не задержал с ответом:

– У меня расхождений с вами нет, товарищ Муратов. Жуков есть Жуков.

Закончив с моряками и отпустив их, Куприянов сказал:

– Докторам проще. У них рентген, опыт столетий, наука, а мы зачастую ощупью.

– Эмпирическим путем?

– Политработник рожден революцией. Он ровесник Октябрьского штурма, – ответил Куприянов. – Вы не согласны?

– Согласен, – сказал Ушаков. – Я думаю, ребята-то хорошие. Хотя не без пятнышек, если так можно выразиться. Донцов больше согласен с отцом, чем с курским горисполкомом. Вам, очевидно, не приходилось иметь дело с жилищным начальством, а я сам хлебнул, насиделся в приемных...

Куприянов кивнул.

– У нас на флоте тоже не малина, Дмитрий Ильич. Немало офицеров ютятся, другого слова не придумаешь. Снимают комнатки. Если нет, в общежитиях. Семью не могут выписать...

Ушаков покорно выслушал несколько примеров. Да и сам встречал не раз пасмурные лица офицеров, и не только на этом флоте. Однако ему не хотелось уводить разговор на утилитарную тему. Ему хотелось узнать, что думает Куприянов о главном, невольно затронутом в беседе с матросами, о понимании ими смысла и значения прошедших событий, где пролилась кровь их отцов. Не все знают об Уральском добровольческом танковом, зато

знают о нехватке танков, о том, как якобы прошляпили. Героизм отступления, изматывание противника, крестные муки полков, грудью принявших вероломный удар врага, нередко пропускают мимо, а сосредоточивают внимание на выходах из мешков. А уж тут простор для любого злопыхательства, сарказмов...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.